

Френцель К.

ЛЮЦИФЕР
ТОМ 1

ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Карл Френцель
Люцифер. Том 1
Серия «История в романах»
Серия «Люцифер», книга 1

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28702744
Люцифер. Т. 1: Роман. Ч. I, II, III (гл. I—II) / Пер. с нем. под ред. И.
Лаукарт: Мир книги, Литература; Москва; 2011
ISBN 978-5-486-03978-2

Аннотация

Карл Вильгельм Френцель (1827–1914) – немецкий романист и эссеист. В 1861 г. поступил в редакцию берлинской «Национальной газеты» как фельетонист и театральный критик. Его статьи о немецком театре были даже изданы отдельной книгой в Ганновере в 1877 г. под заглавием «Берлинская драматургия». Но известность Френцеля основана главным образом на его романах. Сначала появились произведения на современные ему темы: «Мелузина» (1860), «Суета» (1861) и «Три грации» (1862), а за ними последовал целый ряд исторических романов из времен второй половины XVIII в. Сюда относятся: «Папа Ганганелли» (1864), «В манере Ватто» (1864), «Шарлотта Корде» (1865), «Свободная земля» (1868), «Девственница» (1871), «Люцифер» (1873) и

множество других романов и рассказов. Полное собрание сочинений Френцеля вышло в Лейпциге в 1890 г.

В первом томе этого издания представлено начало романа «Люцифер», события которого разворачиваются в 1808 г., во время войны Австрии и Франции. В книге есть все, что любят поклонники историко-приключенческого жанра: и тайные заговоры, и дворцовые интриги, и любовные приключения.

Содержание

Часть I	6
Глава I	6
Глава II	36
Глава III	69
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Карл Френцель

Люцифер. Том 1

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление,
2011

©ООО «РИЦ Литература», 2011

*** * ***

Часть I

Глава I

Тихий и безоблачный октябрьский день клонился к вечеру. Мраморный утес Траунштейна, высоко поднимаясь над озером Траун, ярко блестел при солнечном закате. С высоты, на которой стоял замок Зебург, открывался прекрасный вид на окрестные холмы, поля и леса, одиноко стоящие домики и маленькие деревни. Местность постепенно понижалась к Гмундену и Альтмюнстеру, где озеро образует многочисленные изгибы и бухты, поросшие тростником. С восточной стороны, до самой воды, выступали причудливые скалы, с запада от замка, до самого озера, тянулся парк, а вдали на высоком утесе, среди деревьев, возвышалась небольшая деревенская церковь. Фасад замка выходил на дорогу, за которой виднелось озеро Аттер в мрачной долине, изрезанной узкими тропинками, ведущими к так называемому «Адскому ущелью» с отвесными и едва проходимыми скалами.

Из множества нарядных дам, стоявших у высоких окон замка, только одна глядела на великолепный ландшафт, растянувшийся перед ее глазами, который казался еще роскошнее в вечерней тишине и своеобразной осенней окраске. Не довольствуясь этим, она вышла на балкон, отделенный от

залы стеклянной дверью, где вид был еще более прекрасный, нежели из окон.

Внимание остальных дам было обращено исключительно на охотников, только что въехавших во двор замка. Слышен был топот лошадей, лай и вой собак, прыгавших вокруг телеги, наполненной дичью. Охотники опорожняли ягдташи, разряжали ружья, разговаривая о сделанных выстрелах, о достоинствах своих собак и лошадей. Более юные стояли под окнами и беседовали с дамами, насколько это было возможно при общем говоре и шуме.

Среди толпы мужчин резко выделялся владелец замка, граф Вольфсегг, своей величественной осанкой, спокойными и сдержанными манерами, которые составляли полную противоположность с суетливостью и неловкостью большинства гостей. Выражение доброты в линиях рта несколько смягчали суровость его строгого, загорелого лица и гордый взгляд; коротко подстриженные белокурые волосы с легкою проседью красиво окаймляли высокий правильный лоб. Над левым глазом виднелся глубокий шрам – след удара сабли. На графе было зеленое охотничье платье с золотыми пуговицами, вышитый золотом жилет, белые замшевые панталоны и высокие сапоги, доходившие ему до колен. В каждом его движении сказывалась уверенность человека, знающего себе цену и обладающего способностью знатных людей ставить невидимую границу между собою и теми, которых он считал ниже себя по положению.

– Что это наш хозяин не думает приглашать гостей в дом! – воскликнул с нетерпением один толстяк, который, судя по его объемистой фигуре, более других должен был ощущать голод. – Где же маркиз?

– Этот верзила Пухгейм также замешкался против своего обыкновения, – заметил другой. – Он всегда одним из первых является к столу.

Владелец замка ничего не ответил, хотя разговор наполовину относился к нему. Он внимательно смотрел на покающую дорогу, обсаженную с обеих сторон каштановыми деревьями, ожидая кого-то. Еще спокойнее и безучастнее самого хозяина казался капуцинский монах, сидевший на каменной скамье у главного входа, со своим нищенским мешком и руками, скрещенными на груди. Голова его была опущена, так что виден был только его обнаженный блестящий череп и рыжеватая борода. Глядя на него, трудно было сказать, погружен ли он в молитву и благочестивые размышления или только дремлет. Но во всяком случае происходивший вокруг него шум не мешал ему, потому что он сидел неподвижно и только раз поднял лицо, живо напоминавшее лисицу своим лукавым и хищным выражением. Это был момент, когда владелец замка взглянул на него. Глаза их встретились; они едва заметно кивнули друг другу. В этом движении был как будто вопрос одного и ответ другого. Затем капуцин поспешно схватил четки, висевшие у него на поясе, и стал читать молитву.

Владелец замка снова отвернулся от него. На дороге показался легкий охотничий экипаж. Рослый барон Пухгейм, сидя на козлах, правил парой серых в яблоках лошадей, которые были покрыты пеной. На задней скамейке сидел старый маркиз Гондревиль с испуганным лицом и напрасно умолял кучера ехать потише. Пухгейм забавлялся боязнью старика и гнал лошадей что было мочи. Он, видимо, поставил себе задачей обогнать всадника на вороном коне, который то ехал сзади, то под деревьями, около экипажа, стараясь опередить его в свою очередь.

Стоявшие во дворе охотники со смехом вышли к ним навстречу.

Пухгейм остался победителем. Он круто повернул экипаж и, остановившись поперек ворот, загородил въезд всаднику, не обращая внимания на жалобный возглас маркиза, который едва не слетел на землю. Затем, насладившись своим торжеством, он быстро въехал во двор под громкие рукоплескания своих приятелей.

– Браво! Поздравляем с победой! – кричали зрители, пожимая руку Пухгейму, который ловко соскочил на землю, бросив вожжи подбежавшему конюху.

– Однако вы мастерски правите!

– Мы все время летели рысью; я решил выиграть пари во что бы то ни стало!

Старый маркиз, изящный человек, с живым и выразительным лицом, не разделял общего восторга. Он вытер платком

лицо, поправил измятое жабо и с ужасом взглянул на свое запыленное платье и покрытые грязью сапоги.

– Никогда больше не поеду с вами, барон! – воскликнул он на своем смешанном французско-немецком языке серьезным и торжественным тоном. – В шестьдесят лет человек начинает дорожить жизнью... Моя жизнь принадлежит моему королю...

С этими словами маркиз снял шляпу и почтительно раскланялся с дамами.

Пухгейм спокойно выслушал жалобу маркиза и, вынув из своего кармана старинные часы в серебряной оправе, сказал:

– Каково! Мы поднялись на гору менее чем за десять минут. Вы можете поздравить себя, маркиз Гондревиль. С такою быстротою не ездил еще ни один император и ни один король, даже сам Наполеон!

– Да, если бы Австрия не двигалась таким черепашьям шагом, то Наполеону не так легко было бы справиться с нами, – возразил с горячностью один из дворян.

– Поттише, Ауерсперг! Не говори пустяков! – заговорили окружавшие его приятели. – Тебя могут услышать.

Глаза всех невольно обратились на побежденного всадника, который, сойдя с коня, водил его некоторое время по двору, а затем, передав его конюху, подошел к ним.

Это был красивый молодой человек, с черными блестящими глазами и бронзоватым цветом лица, который был очень эффектен при вечернем солнце. В его обращении виден был

ум и самообладание.

Он выждал, чтобы утих восторг приятелей Пухгейма, и, подойдя к своему сопернику, протянул ему руку в знак примирения, с вежливым поклоном. На лице его не видно было ни малейшего следа неудовольствия или огорчения.

– Не сердитесь на меня, шевалье Цамбелли, – добродушно сказал Пухгейм, пожимая ему руку. – На войне и в игре счастье изменчиво; сегодня один победил, завтра другой. Вы мне оплатите тем же.

– Если бы дело было только в ловкости, то я не решился бы идти на пари с бароном Пухгеймом, – любезно ответил Цамбелли, – но я рассчитывал на быстроту своего коня; однако, к стыду своему, должен был убедиться, что ваша лошадь, барон, гораздо лучше моей.

Молодой человек говорил совершенно правильно по-немецки, хотя с заметным итальянским акцентом.

Затем разговор перешел на лошадей – предмет, близкий сердцу большинства присутствующих господ; одни разделяли мнение Цамбелли относительно лошадей Пухгейма, другие спорили.

Граф Вольфсегг воспользовался этим моментом, чтобы подойти к главному входу, где сидел капуцин.

– Зажгите канделябры на стенах, – сказал он слугам. – Когда мы сядем за стол, будет совсем темно.

Он стоял так близко возле монаха, что почти прикасался к нему своим платьем.

– Выехал он или нет? – спросил граф шепотом.

– Да, сегодня утром он, вероятно, уже был за Феклабруком, – ответил монах беззвучным голосом, перебирая четки.

– А этот не видел его? – спросил опять граф, указывая глазами в ту сторону, где стояли гости.

– В Гмундене никто не видел его, кроме наших, – ответил монах. – А этот на рассвете ездил куда-то на своей лошади, по дороге к Ламбаху.

– К Ламбаху! С какой целью?..

В этот момент около них проходил слуга.

– Вы ведь побудете еще у нас, отец Марсель, и не откажетесь выпить стакан вина, – сказал громко граф. – Теперь полнолуние, и вам торопиться не для чего.

– Я получил разрешение провести ночь вне монастыря.

Слуга прошел, и граф опять понизил голос:

– Здесь Мартин Теймер из Клагенфурта. Вы должны переговорить с ним. Он только что вернулся из Тироля. В народе сильное брожение. Огонь распространяется из долины в долину, но пока он кроется под пеплом. Необходимо раздуть его, чтобы он вспыхнул и поглотил этого Люцифера.

– Чтобы он опять попал в ад, из которого вышел, – ответил монах, опуская глаза и принимаясь снова за четки.

Владелец замка подозвал слугу, стоявшего в почтительном отдалении, и, сделав последние распоряжения, подошел к своим гостям.

– Зачем мы теряем дорогое время, господа, – сказал он. –

Теперь все в сборе, даже шевалье Цамбелли, хотя он не захотел принять участие в нашей охоте. Я надеюсь, что он загладит свою вину. Умный собеседник за столом стоит хорошего охотника в лесу. Дамы потеряли терпение и отошли от окон; только моя племянница Антуанетта все еще стоит на балконе – эта неисправимая мечтательница, которая, верно, ждет, чтобы взошел месяц над озером. Я рассчитывал на вас, молодые люди, что вы займете ее и направите ее мысли в другую сторону, но, видно, нынешняя молодежь никуда не годится!

– Да, пойдемте в замок. Давно пора, – ответили гости. – Дамы могут быть в претензии на нас!

Гости отправились в замок, одни попарно, другие в одиночку; шум их шагов звонко раздавался на широкой каменной лестнице. Наверху уже все люстры и канделябры были зажжены, и их отражение, ярко освещая фасад замка через открытые окна, далеко виднелось в серовато-голубых сумерках.

Позади всех шел владелец замка и молодой человек со смуглым цветом лица. Мужественная наружность графа Вольфсегга, его спокойные движения, решительный и гордый взгляд составляли резкую противоположность подвижности молодого итальянца, его вежливым и несколько натянутым манерам, беспокойному и неприятному блеску его черных глаз.

– Тысячу раз прошу у вас извинения, граф, – сказал Цам-

белли, — что, несмотря на свое обещание, я не мог быть в сборном пункте у мельницы Долен и не успел предупредить вас об этом вовремя. Но мой посланец из Гмундена приехал слишком поздно в замок и не застал вас. Я чувствую себя тем более виноватым, что, судя по всему, вы, граф, совсем отказались от участия в политических делах и теперь всей душой предаетесь удовольствиям сельской жизни.

— Я готов простить вас, но с тем, чтобы вы сообщили мне о том, что делается на свете. С тех пор как я удалился от мира, меня еще больше интересует все великое и ужасное, что совершается в нем. Тут, разумеется, играет немалую роль эгоизм, и я в этом случае похож на прибрежного жителя, который с удовольствием смотрит на гибель кораблей. Не имеете ли вы каких-нибудь новостей из Вены или Парижа?

Они остановились в нескольких шагах от монаха.

— Как же, и могу сообщить вам довольно интересные известия. Я сегодня был в Ламбахе.

— В Ламбахе? — с удивлением спросил граф Вольфсегг.

— Да, и виделся там с одним приятелем, который останавливался там проездом из Вены в Париж и дал мне знать об этом; а так как он ехал из Эрфурта...

— Значит, он был при свидании Наполеона с Александром Первым?

— Он видел встречу обоих императоров. Затем Наполеон послал его с депешами в Вену к генералу Андраши, а другие депеши приказал отвезти в Париж императрице Жозефине.

Поэтому извините меня, граф, что я не мог удержаться от искушения узнать что-нибудь более верное о событии, которое теперь занимает и волнует всю Европу.

– Одним словом, вы променяли одну охоту на другую. Теперь весь вопрос в том, кто из них загонит зайца – Цезарь или Александр. Однако вас можно поздравить, молодой человек, вам предстоит блестящее будущее. Иметь приятеля, который находится в непосредственной близости к французскому императору, – не последнее счастье. Мне остается только сказать вам, шевадье, *pes aspera terrent!*

Взгляды обоих собеседников встретились – итальянец опустил глаза.

– Мое сердце не лежит к императору, – сказал он, прижимая руку к сердцу как бы в подтверждение своих слов. – Я родился подданным Габсбургов и надеюсь до конца моей жизни остаться верным австрийцем.

– Аминь, – ответил граф торжественным тоном. – Но мы совсем удалились от предмета нашего разговора. Я и не думал упрекать вас в недостатке патриотизма. Наш император в самых мирных отношениях с Бонапартом, и почему же вам не сочувствовать герою, который, подобно Александру Македонскому, раздает короны... Однако пойдемте к дамам, шевадье. Вы расскажете им об Эрфурте и тамошних празднествах и театральных представлениях. В нашу пустыню еще не доходила весть о них. Это будет для нас как будто сказка из «Тысячи и одной ночи».

– Вы забываете, граф, что я не присутствовал при этом, – возразил Цамбелли, – и могу только рассказать в общих чертах то, что слышал от счастливец, который был еще в полном упоении от всего виденного им.

– Остальное вы можете дополнить своей фантазией. Представьте только себе: два могущественных монарха сходятся во время празднеств при самой блестящей обстановке... Их окружает свита королей... Самый смелый вымысел ничто перед такой действительностью. Я заранее восхищаюсь вашим талантливym описанием, шевалье. Теперь я даже готов благодарить вас, что вы не были на нашей охоте. Известия из Эрфурта! Это будет такой десерт для наших гостей, которого они не ожидают. Но вот мы опять заговорились с вами – смотрите, уже совсем стемнело.

Граф и его гость поспешно поднялись по лестнице и вошли в освещенную залу, где их ожидали с нетерпением.

Во дворе мало-помалу воцарилась глубокая тишина. Прислуга увела лошадей и собак, экипажи были поставлены в сараи. Ночной сторож по обычаю наложил засовы и запер решетчатые ворота, сделанные в крепкой, поросшей плющом стене, окружавшей замок, часть хозяйственных строений и сад. Из-за утеса Траунштейна поднялся месяц, сперва узким блестящим полукругом, посеребрившим края темных туч, которые тяжело повисли над высокими скалами Адского ущелья. Но вот взошел и полный месяц и, медленно плывя по небу, осветил крышу замка и стройную фигуру молодой

девушки, стоящей на балконе, которая в своем легком белом платье казалась издали каким-то неземным существом. Должно быть, в зале ее кто-то позвал по имени, потому что она оглянулась, а вслед за тем на пороге балкона появилась пожилая женщина и увела ее с собою.

В это время внизу раздался звонок, призывавший к ужину тех слуг, которые уже кончили свои дневные занятия и не обязаны были прислуживать за господским столом. Капуцин, услышав звонок, поспешно встал с места и с видимым удовольствием погладил свою рыжую бороду. Егери, конюхи, кучеры и садовники проходили мимо него в низкую комнату за кухней, служившую для них столовой. Капуцин хотел последовать за ними, но тут к нему подошел старик, одетый в черное платье, и, положив ему руку на плечо, сказал:

– Пойдем лучше со мной, брат Марсель, в особую комнату, – мы разопьем с тобой бутылку красного тирольского вина.

– Вы знаете мой вкус не хуже меня самого, мой дорогой кум, – ответил монах нищенствующего ордена. – Ходьба утомляет ноги, от молитвы устает язык, а вино восстанавливает силы.

– Тебя ожидает Мартин Теймер, – добавил вполголоса старик. – По его словам, в Тироле творятся ужасные вещи. Баварцы хозяйничают там не хуже турок.

– Ну, это в порядке вещей, только бы вино не испортилось у них... Что же касается света, кум, то правда давно умер-

ла в нем, – продолжал капуцин. – Короли, принцы, дворяне, бюргеры и крестьяне – все перемешалось, потеряло голову и все идет вверх дном. Свет представляет собой огромный котел, в котором сатана варит кашу и так усердно мешает ее своей лопатой, что она льется у него через край: то потечет огонь и человеческая кровь, то чистое золото, а чтобы подерживать жар под котлом, он бросает туда целые деревни и даже города. Сатане нужны дрова, но, по счастью, он еще не добрался до виноградников, и это радует меня.

Собравшаяся прислуга внимательно слушала монаха.

– Вы еще шутите, – сказал один из слуг, – а у меня так, право, становится тяжело на сердце, когда подумаю, что делается на свете.

– Я бедный сын Франциска, – возразил монах, – и меня ничто не тяготит; вся моя ноша состоит из этого мешка. Я оставляю его во дворе. Дети мои, смотрите, чтобы кто-нибудь не украл его. Сколько звезд, столько глаз на небе. Они все видят, даже когда молодежь ворует или целуется! Но вы не виноваты в этом, уж так созданы люди, что чувствуют голод и влюбляются...

Прислуга, смеясь, прошла в столовую, а капуцин со стариком повернули в коридор налево.

Старик отворил дверь своей комнаты и пригласил гостя войти в нее.

Стол уже был накрыт, и на нем стояли бутылки и кушанья самого соблазнительного вида.

– Сперва поедим, – сказал капуцин, распуская шнур, опоясывавший его талию, – а потом займемся политикой.

Как в нижнем этаже у прислуги, так и наверху у господ серьезный разговор долго не завязывался. Гости графа Вольфсегга по первому его приглашению поспешили занять свои места за роскошным ужином, и некоторое время в огромной зале слышен был только стук ножей, вилок и звон стаканов и поспешная беготня лакеев, которые приносили и уносили блюда, тарелки и бутылки.

Немало таких веселых дней прошло в замке со времени Аустерлицкой битвы до этой осени, когда граф Ульрих Вольфсегг впервые посетил свой замок после долгого отсутствия. Многим казалось странным, почему граф никогда не приезжал в замок, в котором провел молодость и который недаром славился в целой Австрии своей величиной, великолепным убранством и красивым местоположением между двух озер и скалистых гор, поросших лесом. Каждый объяснял по-своему такое отчуждение, а старые слуги рассказывали о каком-то предсказании покойного графа на смертном одре, которое будто бы напугало его сына и побудило его покинуть дом своих предков. Как бы то ни было, но старый управляющий, который теперь, сидя в своей комнате, распивал красное тирольское вино с капуцином и табачным торговцем Теймером, был очень удивлен, когда в августе получил от графа письмо с приказанием: все привести в порядок и приготовить все необходимое для празднеств, охоты и

приезда гостей.

Старый управляющий исполнил в точности приказание владельца, но количество гостей, явившихся в замок вслед за приездом графа, превзошло все его ожидания.

С утра до ночи приходили и уходили из замка люди всех сословий. Являлись не только австрийцы, близкие и дальние родственники, соседи и знакомые, но и люди совершенно неизвестные и даже иностранцы – северогерманцы, русские и англичане. Раз даже приезжал эрцгерцог Иоган из Штейермарка, чтобы принять участие в прогулке по Аттернскому озеру. Одни приезжали на несколько часов, другие на несколько суток; из последних, большею частью дворян, живших по соседству, начиная с Ламбаха и Вельса, Феклабрука и Вартенбурга, образовалось постоянное общество, которое почти безвыездно жило у графа. Замок сам по себе был привлекателен: красивая местность, отличная охота, богатый стол, погреб, который не уступал императорскому, наконец, гостеприимство хозяина и его умная беседа – все это могло иметь для гостей неустойчивую притягательную силу. Молодые дворяне, по крайней мере судя по их словам, посещали графа ради его племянницы – красивой Антуанетты фон Гондревиль.

Таким образом, не было, по-видимому, никакого основания находить какую-то особенную причину в наплыве гостей в замок и придавать политическое значение веселым пирам, прогулкам и кавалькадам по окрестным лесам и горам. При-

существование стольких богатых и знатных господ объясняло наплыв простых людей – один привозил любимого слугу или конюха, другой искусного стрелка из своих окрестностей. Странствующие монахи нищенствующих орденов пользовались удобным случаем для сбора подаяний на свои монастыри. Под предлогом помощи графские слуги принимали того или другого из своих родных; местные жители приходили в замок из любопытства.

Простой народ любил графа за его снисходительность и щедрость. Граф не позволял своему управляющему притеснять арендаторов, за что и получил у местных землевладельцев прозвище якобинца. Те же, которые ближе знали графа, говорили, что он проводит в жизнь принципы Иосифа II, несмотря на ту перемену правления, которая произошла при его племяннике Франце II. Простому народу, конечно, не было никакого дела до убеждений графа, и он судил о нем по его поступкам и обращению. Владелец замка был строг, но справедлив, умел обойтись с каждым, говорил при случае народным языком и принимал участие в их радостях и горе. В последние недели граф Ульрих, по-видимому, превзошел самого себя; почти все просьбы, с которыми обращались к нему бедняки, были удовлетворены, старым богатым крестьянам он пожимал руки, недавно во дворе замка был устроен большой праздник для деревенской молодежи, на котором ее угостили на славу. Сверх того, владелец замка при всяком удобном случае вел долгие беседы с народными

ми вожаками о том, что делалось на свете. Он рассказывал им, между прочим, что Бонапарт начал войну с испанцами, такими же простыми людьми, как они сами, крестьянами, пастухами и охотниками и вдобавок истинными католиками. Благодаря этому, говорил он, поднялось общее восстание и французы были побеждены; двадцать тысяч их должны были постыдно сдаться крестьянам... Граф рассказывал так живо, что у его слушателей замирало сердце от волнения, и они говорили, что если французы, чего не приведи Бог, придут в Австрию, то они теперь знают, как принять их... Слова всеми уважаемого владельца замка тотчас распространялись в народе с разными добавлениями и преувеличениями.

Поведение графа никого не удивляло в окрестностях благодаря общей ненависти к Бонапарту, но оно могло показаться подозрительным новому человеку, каким был Витторио Цамбелли, тирольский уроженец из старинного епископального города Триента. Неизвестно, действительно ли Цамбелли обладал такой проницательностью или причиной этого было недоверие, которое он внушал графу, только последний счел нужным предупредить своих гостей, чтобы они были осторожнее в присутствии итальянца, так как он считает его французским шпионом. Вследствие этого в замке с приездом Цамбелли исчезли прежняя веселость и непринужденность в отношениях. Все чувствовали неопределенный страх в его присутствии, несмотря на его любезность с дамами и ловкость обращения. «Посвященные», как называли себя в

шутку близкие друзья графа, говорили при нем только о самых безразличных вещах, взвешивали каждое свое слово и останавливали всякую неосторожную выходку молодежи. По счастью, те лица, за которых особенно боялся граф, выехали из замка дня за три до приезда шевалье в Гмунден.

Отказать ему в приеме не было никакого основания, тем более что Цамбелли был принят в Вене во всех лучших домах и на вечерах у первого тогдашнего министра, графа Стадиона, у русского и французского посланников. Таким образом, граф Ульрих не мог исключить Цамбелли ни из одного празднества, не обратив на себя общего внимания таким странным нарушением правил гостеприимства, а, с другой стороны, это было даже небезопасно, если бы Цамбелли был действительно тем, кем считали его, то есть смелым и хитрым слугой французского императора.

В этот вечер, как и всегда, Цамбелли занимал общество. Хозяин дома скоро положил конец скучным охотничьим рассказам некоторых из своих гостей.

– Поговорим о чем-нибудь более интересном, господа, – сказал граф Ульрих. – Ведь вы утомляете дам своими спорами о лошадях и собаках. Не хотите ли вы лучше узнать что-нибудь о событии, которое интересуется теперь весь цивилизованный мир. Вот шевалье Цамбелли получил сегодня известия из Эрфурта; если дамы попросят его, то он, наверно, не откажется сообщить то, что известно ему.

– Я видел сегодня утром адъютанта Бонапарта, – сказал

Цамбелли. — Я познакомился с ним при дворе итальянского вице-короля. Он был при свидании двух императоров и сообщил мне об этом некоторые подробности. Я охотно передам вам его слова, хотя мой рассказ будет, вероятно, вял и отрывочен...

— К чему это предисловие? Рассказывайте скорее, — сказала одна из дам.

— Я к вашим услугам, — ответил итальянец. — Итак, двадцать седьмого сентября, после обеда, оба императора встретились на дороге; один ехал из Эрфурта, другой из Веймара. Оба вышли из экипажей и шли довольно долго пешком, на значительном расстоянии от свиты, дружески разговаривая между собой. После этого они сели на прекрасных верховых лошадей и с триумфом въехали в разукрашенный город, мимо выстроившихся с обеих сторон императорских гренадеров. Их сопровождала бесчисленная свита; тут были и короли Рейнского союза — Саксонский и Вестфальский, Баварский и Виртембергский, множество других немецких князей, французские маршалы и русские вельможи; народ сошелся из близких и далеких мест, чтобы посмотреть на двух императоров. В тот же вечер знаменитый актер из «Theatre Francais» Тальма играл в пьесе Корнеля «Cinna» перед партером коронованных особ. Когда актер произнес знаменитую фразу: «Soyons amis, Cinna», — оба императора, сидевшие рядом на красных бархатных креслах с золотыми орлами на спинках, пожали друг другу руки...

Цамбелли рассказывал очень плавно, не выражая своего мнения о главных лицах и часто обращаясь к сидевшей напротив него пожилой даме, к которой все относились как к хозяйке дома.

Это была старшая сестра графа Ульриха – Леопольдина Вольфсегг, маркиза Гондревилль, ненавидящая Наполеона и всей душой преданная детям и внукам Марии-Терезии. Она вышла замуж в 80 годах прошлого столетия за маркиза Гондревилля, уроженца Лотарингии, который приехал в Вену с письмом от французской королевы Марии-Антуанетты к ее брату Францу-Иосифу II, по случаю кончины их матери, Марии-Терезии. Затем молодые супруги вернулись в Париж, где маркиза скоро сблизилась с Марией-Антуанеттой, которая находила особое удовольствие разговаривать с нею о Вене и их общих знакомых и даже вызвалась быть крестной матерью дочери маркизы, которая в честь нее была названа Марией-Антуанеттой.

Маркиза, разделявшая все удовольствия королевы, не покинула ее в дни скорби и принимала самое живое участие в горе и заботах королевского семейства. Она была около Марии-Антуанетты в ту ночь, когда рассвирепевшая толпа пьяных женщин и мужчин с пиками и топорами вломилась в Версаль через золотую решетку. Только за две недели до 10 августа 1792 года решила она выехать из Парижа, да и то по настоятельному требованию своей великодушной приятельницы. Заливаясь слезами, с чувством гнева и ненависти

к страшным людям, совершившим государственный переворот во Франции, вернулась она в Австрию к своему отцу с двумя детьми: сыном и дочерью. Муж ее, маркиз, остался в войске эмигрантов под предводительством Конде. С этого момента ничто уже не могло примирить маркизу с революцией и с тем, что имело какое-нибудь отношение к ней, начиная с Робеспьера и кончая Наполеоном. Революция лишила ее поместьев во Франции, обезглавила короля и королеву; при Маренго убили родного брата маркизы, другой был опасно ранен; даже смерть своего отца она приписывала впечатлению, произведенному на него Аустерлицкой битвой. Несколько лет прожила она в разлуке с мужем и в постоянном страхе за его жизнь, так как маркиз, выказавший себя трусом при езде с таким искусным кучером как Пухгейм, в былые времена славился своей храбростью. Наконец, болезнь принудила Гондревилля вернуться домой, и маркиза успокоилась относительно своего мужа; но вслед за тем у ней появилась новая боязнь – за единственного и нежно любимого сына. Молодой Гондревиль вступил в австрийское войско восемнадцати лет от роду, сражался рядом со своим дядей, графом Ульрихом, при Гоэнлиндене и отличился при Аустерлице. Наступившее затем бездействие настолько тяготило юношу, что, получив известие об испанском восстании и высадке англичан в Португалии, он немедленно отправился на Пиренейский полуостров под чужим именем в надежде опять сразиться с Наполеоном, которого ненавидел не мень-

ше матери.

Политические симпатии и антипатии маркизы были слишком известны итальянцу, и он тщательно избегал в своем рассказе всего, что могло задеть ее в том или другом отношении. Но он не достиг своей цели. Маркиза прервала его почти на половине фразы.

– Я не понимаю, – воскликнула она с негодованием, – как может русский император настолько унижить свое достоинство, чтобы подать руку бывшему подпоручику, сыну корсиканского адвоката!

Цамбелли не возражал, но на губах его промелькнула неувловимая улыбка.

– Сестра моя забывает, – сказал хозяин дома, – что талантливый человек вне всяких правил. *Sous-lieutenant* Бонапарт, благодаря своим блистательным победам, сделался императором Наполеоном, союзником августейшего австрийского дома. Вы должны делать уступку времени, Леопольдина. Что пользы сердиться на комету, которая неожиданно появляется на небе? Со своей стороны я очень благодарен шевалье Цамбелли за его рассказ. Не подлежит сомнению, что это свидание в Эрфурте будет иметь важные последствия.

– Французский император, вероятно, желает вполне располагать своей армией, чтобы выдвинуть ее против Испании, – заметил Цамбелли, – а дружба его с Александром гарантирует его от войны с Пруссией и Австрией...

– С Австрией! – прервал его Пухгейм. – Помилуйте, ше-

валье, какая нам нужда впутываться в дела Франции. Мы желаем только насладиться дорого купленным миром. Не так ли, господа?

— Разумеется! Барон прав! — воскликнуло разом несколько голосов. — Австрия не желает войны; опыт достаточно показал, что Наполеон непобедим, как Цезарь или Фридрих Великий.

— Господа, вы не поняли меня, — сказал Цамбелли. — Я не сомневаюсь в миролюбивых намерениях Австрии. Но Бонапарт, увлекаемый своим демоном, всюду отыскивает причины для новых битв и побед. Кто может сказать, где он остановится и когда кончит? Принимая во внимание ту невероятную быстроту, с которой он поднялся из мрака и ничтожества, нельзя не удивляться его судьбе. Я убежден, что конец ее будет не менее поразительный. Он не погибнет, как обыкновенный человек. Горе тому, кто становится ему поперек дороги! Император-гигант раздавит его! Наше дорогое отечество после стольких несчастий наслаждается миром; неужели оно захочет подвергнуть себя новым ударам? Разве Австрия может рассчитывать сделать в одиночку то, что не удалось ей в союзе с Россией и Англией?

Цамбелли вопросительно взглянул на присутствующих, видимо ожидая ответа, но вместо этого он услышал какие-то неопределенные восклицания, из которых трудно было вывести то или другое заключение.

Вслед за тем наступило общее молчание, и только появ-

ление прислуги с дорогим и редким вином, подав повод к разговору, вывело общество из неловкого положения, в котором оно находилось.

Ауерсперг воспользовался этим моментом, чтобы встать с места; подойдя к графу Ульриху, он шепнул ему на ухо:

– Неужели, кузен, тебя не возмущает нахальный тон этого итальянца? Он, кажется, принимает нас за дураков. Позволь мне выбросить его за окно!

Граф дружески пожал руку своему молодому родственнику и, подняв свой стакан, громко провозгласил тост:

– Пью за восстановление мира и спокойствия, за наше дорогое отечество, наши горы и за женщин, которые дороги сердцу каждого из нас!

Эти слова встретили громкое одобрение со стороны гостей, и в обществе опять восстановилась некоторая гармония; но тем не менее граф счел нужным сказать несколько слов по поводу предыдущего разговора, чтобы предупредить неосторожные выходки молодежи и успокоить ее.

– Я вполне согласен с мнением шевалье Цамбелли, – сказал он своим звучным и твердым голосом, – что мы должны желать мира с Францией и что с нашей стороны было бы положительным безумием вступать в борьбу с Наполеоном. Пусть обедневшая и разоренная Пруссия мечтает о мести, – Бонапарт так безжалостно обошелся с нею, что ни он, ни французы не могут ожидать от нее пощады. Судьба избавила Австрию от такого позора, но я должен заметить, что

Австрия останется в стороне только до тех пор, пока мы не увидим посягательства на нашу свободу и честь, потому что мы недаром учились владеть ружьем и шпагой. Кто бы ни вздумал поработить наше отечество, для нас безразлично, будь он сын богов или сам Люцифер!..

– Да здравствует Австрия! – воскликнули гости, разгоряченные вином и речью хозяина, поднимаясь с мест.

– Сердце радуется, когда слышишь такие речи! – сказал один из них, пожимая руку графу Ульриху.

– Ты говоришь как Демосфен!

– *C'est beau comme Corneille!* – пролепетал старый маркиз.

– В делах чести нам остается только следовать вашему примеру, граф, – сказал Цамбелли с вежливым поклоном.

– Ты сказал, Вольфсегг, что «будь он сын богов»... – проговорил протяжно Пухгейм, выпрямляясь во весь рост. – Но ведь все сыновья богов были уязвимы, как, например, Ахиллес, Зигфрид... Разве у великого Наполеона также не может быть своей ахиллесовой пяты?

– Разумеется, – вмешалась маркиза, – и вот ужалила же его змея, которую он думал раздавить своей ногой; благородная Испания опять поднялась против него.

– Рыцарский и геройский народ...

– Верные и храбрые испанцы доказывают на деле, что владычество короля и церкви не деморализировало их.

– *Sublime!* – воскликнул маркиз, думавший в эту минуту о своем сыне.

Каждый старался сказать что-нибудь неприятное итальянцу. Но все эти намеки казались недостаточно ясными Ауерспергу, который хотел во что бы то ни стало затеять ссору с Цамбелли. Помимо политических причин, он видел с возрастающим негодованием нежные взгляды, которые тот бросал на его родственницу Антуанетту, и не мог допустить мысли, чтобы какой-нибудь заезжий авантюрист осмелился поднять глаза на урожденную Вольфсегг.

– Вам, шевалье, вероятно, крайне неприятно, что испанцы восстали против вашего кумира, – сказал Ауерсперг дерзким, вызывающим тоном.

– Почему вы так думаете? – ответил Цамбелли с холодной учтивостью, которая составляла резкую противоположность с горячностью его противника. – Я вовсе не поклонник императора Наполеона, граф Ауерсперг, и только удивляюсь его счастью; все удастся ему, и это заставляет меня опасаться за участь испанцев. Их последние победы над французами не имеют особого значения. Если императору удастся заручиться обещанием России относительно мира на востоке и он появится за Пиренеями, то весьма сомнительно, чтобы перевес остался на стороне испанцев.

– Вы сказали, шевалье, что только удивляетесь счастьем Бонапарта, – ответил за Ауерсперга один из пожилых господ. – Вы, кажется, придаете его счастью больше значения, нежели его личным достоинствам.

– Разве история не представляет нам примеры, когда вели-

чайший гений оказывался бессильным в борьбе и изнемогал в ней? Счастье составляет все, оно уничтожает всякое препятствие, которое преграждает путь его любимцу; и я глубоко убежден, что пока оно не изменит французскому императору, ни один народ не в состоянии будет противиться ему.

– Из ваших слов выходит, шевалье, что мы все должны неизбежно сделаться его рабами! – заметил, улыбаясь, граф Ульрих.

– Почти так. Все это, конечно, имеет свои пределы. У Наполеона своя звезда, но и звезды меркнут.

– Вы, должно быть, суеверны, шевалье?

– Несомненно, и даже более, чем вы предполагаете, – спокойно ответил Цамбелли.

– К сожалению, я слишком близорук, чтобы быть астрологом, – сказал шутя Пухгейм, – и потому я должен терпеливо ожидать, пока шевалье не скажет мне, что звезда великого человека наконец померкла.

– Это может случиться совершенно внезапно, – ответил Цамбелли. – Как бы велико ни было счастье Бонапарта, но не менее велика ненависть, которую он возбуждает у великих мира сего и у народов, начиная от Мадрида и кончая Петербургом; а против ненависти всякий бессилён!.. Впрочем, наш разговор принимает не совсем приятный оборот. Прошу извинения у дам, – добавил Цамбелли с легким поклоном.

Мужчины замолчали, а маркиза воскликнула с нетерпением:

– Вы, кажется, предполагаете, что у нас такие слабые нервы, что мы упадем в обморок, если вы нам предскажете, что Бонапарт когда-нибудь умрет.

– Об обыкновенной смерти не может быть и речи, – ответил Цамбелли. – Я хотел сказать, что новый цезарь может погибнуть, как и старый, на высоте своего счастья.

– Вы думаете, что неслыханное злодеяние положит конец его жизни?

– Против Бонапарта может быть составлен заговор с целью убить его...

– У вас слишком живое воображение, шевалье. Времена Борджиев прошли...

– Я не понимаю, почему вы приходите в такое негодование! Разве вы забыли адскую машину? Кто хочет во что бы то ни стало достигнуть цели, тот не выбирает средства. Но тут опять-таки судьба распоряжается рукой жалкого убийцы. Счастливец, возбуждающий зависть богов, нередко искупает свои удачи печальным концом...

В этот момент кто-то громко позвонил у ворот замка, но все были так заняты разговором, что никто не обратил на это никакого внимания.

– Для человечества это большое утешение, что всемирное владычество длится недолго, – сказал князь Лихтенштейн. – Человечество терпеливо выносит какие-нибудь двадцать – тридцать лет, гнет тяжелой руки Карла Великого или Наполеона, а затем для него наступает отдых. Благодетельный

естественный закон рано или поздно избавляет мир от таких героев; к тому же многие из них умирают без прямых наследников. То же видим мы и в данном случае: Наполеон не имеет и, вероятно, не будет иметь детей.

Цамбелли кивнул головой в знак согласия.

– Да, этот вопрос, – сказал он, – сильно занимает французского императора. В Эрфурте поговаривают шепотом, а ветер, как всегда, разносит стоустую молву, будто бы император хочет жениться на одной из русских великих княжон. Если его сватовство будет принято, то он разведется с Жозефиной.

Дамы были сильно поражены этим известием и не могли понять, что политические соображения могут заставить Наполеона решиться на такой гнусный поступок. Они глубоко сочувствовали привлекательной и всеми уважаемой женщине, которую ожидала такая печальная участь. Цамбелли по их настоятельной просьбе должен был рассказать все, что ему было известно об этом деле.

В это время в залу вошел старый управляющий и, сообщив что-то графу Ульриху вполголоса, тотчас же удалился. Лицо графа приняло озабоченное выражение; он с беспокойством взглянул в ту сторону, где сидел Цамбелли, но тот был так занят беседой с дамами, что не мог наблюдать за ним.

– Не выпускай шевалье из залы и постарайся задержать его, пока я не вернусь, – шепнул граф своей племяннице, проходя мимо.

Его ожидал управляющий.

– Ты мне объявил, что приехал какой-то незнакомец? – сказал граф, идя по коридору поспешными шагами. – Что так поздно?

– Я бы не посмел утруждать ваше сиятельство. Но он так настойчиво требовал свидания с вами и никому из нас не хотел сообщить, что привело его в замок. Он уверял, что если вам доложат о нем, то вы непременно примите его.

– Не ошибся ли ты, Антон? Ты сказал мне, что его зовут Эгберт Геймвальд?

– Так точно...

– Где он?

– Я не решился оставить его в прихожей, потому что он был слишком хорошо одет; наверх я его также не привел, чтобы его не увидели некоторые люди, а пригласил его в свою комнату.

– Ты поступил очень умно!.. Что могло заставить Эгберта приехать сюда ночью? Не случилось ли какое-нибудь несчастье в Вене? – пробормотал граф, спускаясь с лестницы с такой быстротой, что старый управляющий едва поспевал за ним.

Глава II

Незнакомец по приглашению управляющего вошел в его комнату, выходявшую окнами в сад. Около стола за остатками ужина сидел капуцин, рядом с Мартином Теймером. Первый самодовольно гладил свою рыжую бороду, потягивая вино; другой, коренастый, широкоплечий человек с темными волосами, одетый в полугородское и полудеревенское платье, в башмаках и коротких панталонах, безостановочно курил свою трубку.

Свет маленькой лампы, горевшей на столе, слабо освещал комнату, наполненную густым табачным дымом, за которым едва виднелась резко очерченная голова Теймера.

Теймер молча поклонился незнакомцу из окружавшего его табачного облака.

– Мир Господень да будет с вами, – пробормотал, в свою очередь, монах.

– Прошу вас присесть на минутку, – сказал управляющий, подвигая к столу деревянный стул с резной спинкой. – Я сейчас извещу графа.

– Ради бога, поспешите, тут дорога каждая минута.

Управляющий вышел.

Капуцин с любопытством рассматривал молодого человека. Первое, что он заметил в его наружности, были белокурые вьющиеся волосы, падавшие на стоячий воротник голу-

бого сюртука; вторая особенность незнакомца заключалась в том, что он от нетерпения ни минуты не мог просидеть спокойно на месте.

– Не хотите ли вы выпить стаканчик вина, молодой барин? – спросил капуцин. – Вы, кажется, устали, а вино восстанавливает силы.

– Благодарю вас, патер, – сказал незнакомец и, взяв со стола налитый для него стакан, выпил несколько глотков.

– Пейте все до дна. Вам это не повредит, да и нас не обидите. У нас тут вдоволь вина. – В подтверждение своих слов монах вынул из-под стола новую бутылку. – Вы, верно, нездешний. Откуда вы?

– Из Зальцбурга, или, лучше сказать, из западного Тироля.

– А говорите не по-нашему, – заметил Теймер густым басом.

– Я родился в Вене.

– Это чертовски большой город, – продолжал Теймер, – и с вечным ветром... Ну, а теперь поселились в горах?

– Да, мне хотелось познакомиться с этой местностью.

Теймер не понял незнакомца и вопросительно взглянул на капуцина.

Монах, больше видевший свет и людей, поспешил выручить своего приятеля из затруднения.

– Значит, вы путешествуете, молодой человек, для своего удовольствия. Мне также приходится много странствовать

для сбора милостыни, а ему по своим торговым делам. Наша земная жизнь не что иное, как вечное странствование.

Незнакомец, занятый своими мыслями, не слушал его.

– Ну, я думаю, Тироль совсем обаварился, – проворчал Теймер.

– Что хотите вы этим сказать?

Теймер презрительно взглянул на него и толкнул локтем капуцина с таким видом, как будто хотел сказать, что с дураками рассуждать нечего.

Капуцин допил свой стакан и глубокомысленно посмотрел на молодого человека, видимо желая убедиться, не притворяется ли он.

– Разве вы не знаете, что Тироль принадлежит теперь баварцам?

– Да, знаю... Но мне какое дело до этого? – сказал с досадой незнакомец.

– Разумеется, это и не мое дело, – ответил монах, – я не военный человек и не придворный; не мне обсуждать решения императоров и королей. Но разве не обидно, что проклятые французы отняли у нас эту прекрасную страну? Впрочем, вы, господа ученые, на все смотрите свысока, мечтаете неизвестно о чем и, кажется, так бы и поднялись на небо, к Господу Богу.

– К сожалению, я еще не могу назвать себя ученым, – сказал незнакомец, делая вид, что не замечает насмешливого тона, с которым говорил монах.

– Какой он ученый, просто дурак или плут, – пробормотал Теймер на своем родном диалекте, почти непонятном венскому уроженцу. Теймер мог теперь бранить незнакомца на каком угодно языке, потому что тот забыл о его существовании, услышав шум шагов в коридоре.

Минуту спустя отворилась дверь и в комнату вошел граф. Незнакомец снял шляпу и сделал несколько шагов ему навстречу.

– Так это вы, Эгберт! Очень рад видеть вас, – сказал граф, подавая руку молодому человеку и с видимым удовольствием оглядывая его статную фигуру и всматриваясь в лицо, которое можно было смело назвать идеалом мужской красоты и где все было безукоризненно, начиная с высокого, прекрасно очерченного лба, слегка приподнятых бровей, голубых задумчивых глаз и кончая классически красивым носом и губами.

– Извините, что я побеспокоил вас, граф, – сказал Эгберт. – У вас, кажется, гости.

– Вы из Вены? – спросил граф, прерывая его. – Надеюсь, что вы сообщите мне хорошие вести...

– Нет, я из Зальцбурга.

– Тем лучше. Очень рад, что вы наконец послушались моего совета, милый Эгберт, и решились на время покинуть Вену. Человек становится крайне односторонним, живя постоянно в городе. Что бы ни говорил ваш отец, не книги, а свет и жизнь воспитывают людей. Поэтому я считал путеше-

ствие необходимым для вас. Ну, теперь вы отдохнете у меня с дороги. Я не скоро выпущу вас отсюда; вы недаром попали в мои когти.

Граф, довольный тем, что его опасения относительно дурных известий из Вены оказались напрасными, совсем упустил из виду, что его молодой друг мог явиться к нему в дом в такое позднее время только вследствие каких-нибудь особенных причин.

– Извините меня, граф, но прежде чем воспользоваться вашим приглашением, я должен исполнить то дело, которое меня привело сюда...

Эгберт замолчал и с замешательством взглянул на капуцина и Теймера, почтительно стоявших у окна.

– Говорите смело, я вполне доверяю этим людям. Что случилось?..

– Я привез сюда умирающего.

– Господи, этого еще не доставало! – с ужасом воскликнул управляющий. – Я думал, что мне это только померещилось издали...

Граф с нетерпением остановил его.

– Мы нашли его в расщелине скалы между Гмунденом и Феклабруком.

– Феклабруком! – повторил граф, бледнея.

Капуцин подошел ближе.

– Да, это какой-то француз, и немолодой. Он назвал себя Жаном Бурдоном...

– Жив ли он? Где вы его оставили? – спросил граф взволнованным голосом.

– Внизу под горою. Он лежит в доме вашего лесного сторожа. Мы не решились привезти его сюда, услышав, что у вас гости.

– Вы отлично сделали. Благодарю вас, Эгберт. Но я должен сейчас же идти к нему.

– Я пришел сюда, чтобы просить вас об этом. Он настойчиво требует вас к себе.

– Шляпу, Антон! Скорее! Вы проводите меня, Эгберт, и расскажете дорогой, как вы нашли его.

– Если я не ошибаюсь, то его хотели убить с целью грабежа...

– Несчастный! Если бы он послушал меня и взял с собой слуг... Неужели всякая борьба с этим демоном должна кончаться неудачей!..

Последние слова граф произнес вполголоса; они вырвались у него помимо его воли.

Управляющий подал графу шляпу и накинул на его плечи серый плащ.

– Вы, патер Марсель, пойдете с нами. Ваше присутствие может успокоить умирающего. А ты, Антон, должен зорко смотреть, чтобы кто-нибудь не проскользнул за нами. Я не хочу, чтобы в зале узнали о том, что случилось; вели им подать побольше вина, самого лучшего. Я скоро вернусь. Постарайся также совладать со своим лицом – у тебя совсем

растерянный вид.

Путники скоро очутились за стенами замка и пошли боковой дорожкой, проложенной под деревьями для пешеходов. Граф шел впереди с Эгбертом, сзади неслышными шагами шел капуцин. Лунный свет, пробиваясь то тут, то там сквозь густую листву каштанов и ореховых деревьев, освещал им путь.

Эгберт начал свой рассказ, понизив голос:

– Мы выехали из Зальцбурга...

Граф прервал его.

– Вы говорите «мы», разве вы были не один?

– Нет, я познакомился дорогой с одним молодым художником, если можно так назвать его, потому что он одинаково увлечен сценой, живописью и музыкой. Вот он и согласился сопровождать мне.

– Или, другими словами, путешествовать за ваш счет. Вы всегда останетесь таким же мечтателем, каким я знал вас в Вене. Ну, а где вы оставили своего спутника?

– Я просил его побыть с умирающим; ему, вероятно, приятно будет иметь при себе человека, которому он может передать свое последнее желание...

– Ваш приятель говорит по-французски?

– Да, немного.

Граф замолчал и казался озабоченным.

Они прошли молча несколько шагов.

– Однако рассказывайте дальше, – сказал граф. – Я не ста-

ну прерывать вас.

— Мы провели последнюю ночь в Феклабруке, с тем чтобы оттуда отправиться в Линц и сесть на пароход, идущий в Вену. Но утром трактирщик стал так красноречиво описывать нам красоты здешнего озера около Гмундена и утеса Траунштейна, что мы решились продлить наше путешествие еще дня на два. Ввиду этого мы послали моего слугу с багажом в Линц, а сами с легкими ранцами на плечах отправились по направлению, которое указал нам трактирщик. Но скоро большая дорога наскучила нам, потому что приходилось идти по солнцу и в пыли, и мы, свернув в сторону, пошли наугад по тропинкам через лес и овраги. Заблудиться мы не могли, потому что стоило взойти на любой пригорок, чтобы увидеть издали красную вершину Траунштейна, который служил нам верным ориентиром. Люди попадались редко; мы встретили только пастуха, лесного сторожа и нескольких детей, которые собирали ягоды; по временам утренняя тишина нарушалась звуками охотничьих рогов и выстрелами, которые раздавались то совсем близко от нас, то на значительном расстоянии...

— Это, вероятно, были наши охотники, — заметил граф Ульрих.

— Одним словом, — продолжал Эгберт, — это была одна из прелестнейших прогулок, которую мне когда-либо в жизни удавалось сделать. Наконец мы поднялись на высокий гребень холмов, поросших лесом, и, выбрав тенистое дерево,

расположились под ним, чтобы позавтракать теми запасами, которые были у нас в ранцах. Но тут мой приятель неожиданно поднялся с места и взошел на скалу над оврагом.

– Ты ничего не слышишь? – спросил он меня.

– Нет!

– Мне послышался легкий стон.

Я подошел к моему приятелю и стал прислушиваться; мне также показалось, что кто-то стонет, но так неясно, что я подумал: не обманывает ли меня воображение? Гребень холма у того места, где мы стояли, спускался отвесно футов на сто, тогда как с другой стороны он был покатый и соединялся с долиной едва заметными уступами. Высокие деревья, растущие в овраге, совершенно скрывали его от нас, и только кое-где на дне виднелись ручьи, которые текли с утесов, покрытых густой зарослью. Мы сделали несколько шагов в сторону, и тут уже совершенно отчетливо долетели до нас стоны и вздохи. Тогда, недолго думая, мы стали спускаться вниз, и скоро глазам нашим представилось страшное зрелище. На дне оврага, в кустах, лежал умирающий человек со сломанной рукой и с пулей в груди. Несмотря на мои жалкие познания в медицине, я все же решился воспользоваться ими, чтобы привести руку в более удобное положение и перевязать рану. Пуля засела так глубоко, что вынуть ее вряд ли было бы возможно даже с помощью инструментов. Мы уже застали этого несчастного в лихорадке, потому что он, должно быть, пролежал часа два без всякой помощи. Я принес воды из ключа,

подлил в нее вина, которое было у нас, и напоил его. Между тем мой товарищ несколько раз принимался кричать и звать на помощь, но, убедившись, что кругом нет ни души, отправился на поиски, в надежде отыскать поблизости какое-нибудь жилье. Я остался с умирающим. Сделанная мною перевязка настолько успокоила его, что он в состоянии был пробормотать несколько слов. Таким образом я узнал, что его имя Жан Бурдон и что ему необходимо видеть вас, граф. Затем он замолчал, и мне показалось, что он потерял сознание. Я опять подал ему воды с вином, и он заговорил, хотя с большим трудом и беспрестанно останавливаясь. Из всего, что он сказал мне, я понял, что дело произошло таким образом: он шел по гребню холма с каким-то человеком и разговаривал с ним, но тут внезапно раздался выстрел, и пуля настигла его. Несколько секунд он лежал под палящими лучами солнца, а когда пришел в себя, то стал искать воду, ползая по земле, но, должно быть, приблизился к самому краю обрыва и полетел вниз, где мы и нашли его. Одно мне осталось неясным в его рассказе – убил ли его тот самый человек, который разговаривал с ним, или кто-нибудь другой? Несчастный также несколько раз вспоминал своего сына, называл ваше имя и жаловался на потерю каких-то бумаг, которые у него отняли или он сам потерял, – я этого не мог понять из его слов. Он все время держал меня за руку и даже беспокоился, когда я отходил от него, чтобы зачерпнуть воды из ручья. Ему все казалось, что опять нападут на него... Извините меня,

граф, что я рассказываю подробно; но в этом случае самое ничтожное обстоятельство может иметь значение.

— Даже большее, чем вы думаете, — возразил граф. — Продолжайте, пожалуйста.

— К несчастью, раненый, как я уже говорил, не отпускал меня от себя ни на шаг, и я не мог осмотреть место преступления по свежим следам. Наконец, после долгих часов ожидания, вернулся мой приятель с работниками с мельницы и носилками. На горе он встретил девушку, которая показала ему дорогу на мельницу Рабен и теперь явилась вместе с ним, вероятно из любопытства. Девушка эта была полуребенок с босыми ногами и смуглым, загорелым лицом. При виде раненого она громко вскрикнула, захлопала в ладоши как сумасшедшая и убежала. «Это черная Кристель, — сказали работники. — Она не в своем уме, так же как и ее отец». Нам, разумеется, некогда было заниматься ею. Мы положили Бурдона на носилки и отнесли на мельницу, которая в часе ходьбы от места преступления. Мельник и его домашние сильно перепугались при нашем приходе. Они знали раненого в лицо. На рассвете он остановился у них, чтобы починить в экипаж, потому что поблизости не было кузницы. По словам мельника, он сильно досадовал, что теряет напрасно время, торопил их и сел даже на скамейке перед домом, чтобы наблюдать за починкой, так как ему казалось, что дело идет слишком медленно. Вслед за тем подъехал какой-то человек верхом и, сойдя с лошади, поговорил немного с Бурдоном на

иностранном языке. Бурдон приказал кучеру ждать его возвращения, а сам отправился в лес вместе с незнакомцем, который вел свою лошадь под уздцы. Скоро они оба исчезли из виду, а с этого времени их не видели на мельнице; всадник также не возвращался. Долгое отсутствие путешественника начало уже тревожить мельника, но кучер успокоил его тем, что, вероятно, тут какая-нибудь тайна, потому что когда он садился на козлы в Гмундене, то капуцин Марсель сказал ему, чтобы он только смотрел за своими лошадьми и что ему нет никакого дела до того, что он увидит или услышит. Кучер буквально исполнил это приказание и спокойно ждал возвращения своего господина у готового экипажа, стоявшего посреди двора мельницы.

– Слышите ли, патер, к чему привели принятые вами предосторожности, – сказал граф, обращаясь к капуцину.

– Будущее известно одному Богу, – скромно ответил монах.

– Вот все, что я мог узнать на мельнице, – продолжал Эгберт. – Затем я опять перевязал рану Бурдона, и так как смерть его неизбежна и поездка в удобном экипаже не могла особенно повредить ему, я решился привезти его сюда, тем более что он все настоятельнее желал видеть вас. Я думал, что, может быть, и вам окажу этим услугу.

– Благодарю вас, Эгберт, – сказал граф, пожимая ему руку. – Для меня это настолько важно, что я буду считать себя вашим вечным должником. Но вот мы и пришли.

У подножия высокой горы, на которой стоял замок, и в нескольких саженях от леса виднелся одноэтажный деревянный домик. Здесь жил на покое отставной солдат, который некогда служил под началом графа Ульриха и вместе с ним сражался против французской республики. Несмотря на свои раны, он чувствовал себя настолько бодрым, что не хотел «даром есть хлеб», как он выражался, и просил владельца замка дать ему какое-нибудь занятие. Граф, выслушав это заявление, улыбнулся и ответил, что он может смотреть за лесом и со своего аванпоста сторожить его замок.

Седой Конрад с радостью принял возложенную на него обязанность и взялся за нее с неутомимым усердием.

Соседние жители в продолжение многих лет видели, как он изо дня в день обходил лес с ружьем, которое подарил ему граф, и прозвали его лесным сторожем.

Он стоял на часах у своего дома с лохматой собакой у ног, когда граф Ульрих подошел к нему со своими спутниками.

– Плохая ночь, Конрад! – сказал граф. – Несмотря на мир, мы все на военном положении.

– Будет еще хуже, ваша графская милость, – ответил Конрад, отворяя дверь своего дома. – Французу скоро наступит конец. Еще одним будет меньше на земле!

На постели Конрада на его соломенном тюфяке лежал Жан Бурдон в предсмертной агонии. На столе стояла свеча в железном подсвечнике и глиняная кружка с водой; на скамье у постели сидел Гуго, приятель Эгберта.

С умирающего сняли сюртук, но он оказал такое отчаянное сопротивление, когда хотели стащить с его ног высокие, тяжелые сапоги, что вынуждены были оставить их. Странный вид имели эти запыленные и грязные сапоги, выглядевшие из-под одеяла, которым был покрыт умирающий.

На лице его отразился ужас, когда он увидел троих вошедших людей.

Гуго уступил место графу.

– Я пришел к тебе, мой дорогой Бурдон, – сказал граф по-французски, взяв за руку умирающего.

Бурдон смотрел на него неподвижными глазами; он, казалось, не узнал того, кто говорил с ним, но немного погодя лицо его оживилось, он судорожно сжал руку графа и, приподняв голову, проговорил с усилием:

– Мой бедный Веньямин! Граф, спасите моего сына!

– Как это все странно! – невольно воскликнул граф, но тотчас же опомнился и, наклонившись к уху умирающего, спросил:

– Где бумаги?

– Пропали, – чуть слышно ответил Бурдон, стараясь достать что-то из своего сапога. Но это полусознательное движение настолько увеличило его страдания, что страшный, нечеловеческий вопль вырвался из его груди.

Граф закрыл лицо руками. Все стихло, капucin читал молитву.

– Сын мой! – простонал Бурдон. Черты лица его искази-

лись, и он поднял руку, как будто отталкивая кого-то. – Не убивайте его!

Но рука бессильно опустилась на одеяло.

– Кончено! – сказал граф после долгого молчания, глядя с глубокой печалью на лицо покойника. – Судьба сильнее нас. Пули, которые мы направляем против него, поражают нас самих...

– Господь Бог пошлет архангела Михаила, который победит этого Вельзевула, – набожно проговорил капуцин.

Остальные молчали.

Молодые путешественники, которых случай натолкнул на след страшного преступления, стояли у окна. Эгберт отвернулся от постели и смотрел на луну сквозь тусклое зеленоватое стекло, между тем как его приятель, повернувшись к нему спиной, внимательно разглядывал покойника и лица присутствующих, как будто хотел изобразить их на картине.

– Мы не должны ни отчаиваться, ни питать безумных надежд, – сказал граф капуцину. – Это был дельный человек с детства до смерти. Он должен служить нам примером... На эту ночь, Конрад, я оставляю тело на твоём попечении. Ты ведь не боишься покойников?

Старик едва не расхохотался, но из уважения к усопшему остановился.

– Прикажи вынуть ящик из экипажа и принести в замок, – сказал граф. – Смотри, чтобы это было сделано как следует.

– Пусть граф не беспокоится, – сказал многозначительно

капуцин, — я сам распоряжусь здесь всем, что нужно, и отошлю кучера в Гмунден.

— Я вполне доверяю вам, патер Марсель, и знаю, что вам нечего напоминать об осторожности.

В этот момент глаза графа остановились на Эгберте, который все еще смотрел в окно.

— Здесь душно и тяжело, господа, — сказал он, обращаясь к обоим приятелям. — Пойдемте на чистый воздух.

Они вышли втроем на лужайку перед домом, которая была вся освещена лунным светом. С озера дул прохладный восточный ветер, который живительно подействовал на них и до известной степени рассеял тяжелое впечатление, произведенное на них зрелищем смерти.

— Мой дорогой Эгберт и вы, милостивый государь... — начал граф.

— Гуго Шпринг, — добавил тот, к кому обращались эти слова.

Граф подал ему руку.

— Позвольте поблагодарить вас, господа, — сказал он, — за все то, что вы сделали сегодня для несчастного Бурдона. Я знаю, что молодые люди не любят, когда в подобных случаях к ним обращаются с благодарностью или похвалой, так как считают, что сознание сделанного добра уже само по себе достаточное вознаграждение. Но вы оказали услугу не только умершему, но и мне, и вам нелегко будет отделаться от моей благодарности. Вы должны непременно пойти со мной в за-

мок, тем более что моя сестра, маркиза Гондревиль, была очень расположена к Бурдону и, наверно, захочет услышать от вас самих некоторые подробности.

– Завтра, граф, мы к вашим услугам, – сказал Эгберт, – а теперь мы отправимся в Гмунден.

– Нет, я не допущу этого, – возразил граф. – Вы пойдете в замок вместе со мной. Не оскорбляйте меня отказом...

– У нас даже нет с собой приличного платья, – сказал Эгберт под влиянием необъяснимого чувства, которое удерживало его принять приглашение графа, хотя он давно желал познакомиться ближе с так называемым высшим обществом, которое он знал только по романам и видал издали в Вене на Пратере.

Приятель Эгберта не мог понять причины его упорного отказа и досадовал, что таким образом лишится возможности провести приятно несколько дней. Но, пользуясь кошельком Эгберта, он не считал удобным идти против его желания и упорно молчал.

– Почему вы думаете, что мы, аристократы, придаем такое значение платью? – сказал граф. – Помимо кровавых уроков революции, мы всегда умели ценить людей не по одной внешности. Нет, Эгберт, ваши доводы неубедительны для меня. Я вижу вас не в первый раз и знаю, что вас пугает внезапный переход от одной обстановки в другую. Вы, вероятно, уже составили себе целый план, как вы пойдете к озеру в лунную ночь и будете рассуждать с приятелем о разных вы-

соких материях, о конечных причинах смерти, земном ничтожестве и тому подобном. Но, кажется, ваш приятель веселее смотрит на жизнь и согласится со мной, что после такого дня стакан хорошего вина – вещь не лишняя. Помогите мне, господин Шпринг, уговорить его принять мое приглашение.

– Вы как будто прочли в моей душе, граф! – сказал Гуго. – Я не в состоянии погружаться в бездну бесконечности и философии, как Эгберт, и избегаю этого, как холодной ванны. Даже у великого Шекспира высокое сменяется комическим, картины смерти и веселья идут у него рука об руку. В этом вся мудрость жизни. Пойдем в замок, Эгберт. Разве ты хочешь быть мудрее Шекспира?

– Вам уже нечего возражать на это, Эгберт, – сказал, улыбаясь, граф Ульрих. – Вдобавок вам необходимо знакомиться со светом и людьми. Уж я столько раз говорил вам это; не заставляйте меня возвращаться опять к старой теме...

– Я к вашим услугам, граф, – сказал Эгберт, чувствуя, что неловко заставлять себя упрасивать так долго, тем более что граф, видимо, торопился к своим гостям.

– Ну, так пойдемте скорее, – сказал граф.

Неизвестно, стал ли бы он при других обстоятельствах так настойчиво приглашать к себе в дом людей без имени. После услуги, оказанной молодыми людьми, чувство благодарности и правила гостеприимства не позволяли графу отпустить их в гостиницу, которая была за час ходьбы от замка, но он мог предложить им ночлег и ужин в своем доме, не

приглашая их в общество своих гостей и родных. Если бы Эгберт имел более верное понятие о свете, чем то, которое составил себе из окон своей студенческой квартиры, из чтения романов и театральных представлений, а Гуго был не так беззаботен и самоуверен, то они, наверно, заподозрили бы какую-нибудь затаенную цель в чрезмерной любезности гордого дворянина.

Цель эта обнаружилась, как только они вошли с графом в освещенную залу.

– Вот так сюрприз! – сказал граф, обращаясь к своим гостям. – Только молодость способна на подобные вещи. Приехать издалека, чтобы попасть к концу ужина! Позвольте представить вам прекрасного юношу, господина Эгберта Геймвальда из Вены, отчасти моего воспитанника, и господина Гуго Шпринга, будущего принца Гамлета. Давайте нам скорее вина; после дальней дороги всегда мучит жажда.

Представив таким образом незнакомых людей, граф отвлек от себя внимание общества и отчасти объяснил свое долгое отсутствие. Вслед за тем граф подошел к Пухгейму и сказал ему вполголоса, но настолько громко, что многие могли услышать его слова:

– Советую вам, барон, обратить внимание на этих молодых людей, которых можно считать украшением нашего австрийского бюргерства.

Цель графа Вольфсегга была вполне достигнута.

Неожиданное появление двух незнакомцев настолько по-

глотило внимание общества, что никому и в голову не приходило справляться о причинах долгого отсутствия хозяина дома, так как приезд молодых людей достаточно объяснял его. Друзья графа тотчас же решили, что Эгберт и его приятель явились в замок не с простым визитом, а с каким-нибудь тайным поручением из Тироля, Пруссии или Вестфалии, так как недовольство против иноземного владычества достигло крайних пределов в тогдашней Германии. Бонапарт хотел насильственно заставить немецкий народ признать свое господство; и эта цель проводилась в жизнь нагло и открыто его братьями и маршалами и втайне его вассалами — князьями Рейнского союза. В это время среди немецких патриотов опять воскресла надежда, что австрийский королевский дом возьмет на себя инициативу освобождения Германии и отстоит ее в решительной борьбе с помощью своего гордого и могущественного дворянства. Ко всем знатым и богатым дворянским родам в Австрии посланы были патриотические воззвания, и те изъявили полную готовность пожертвовать жизнью и всем своим богатством для общего дела. Казалось, вернулись снова времена римского Цезаря и его легионов. Положение дел было такое же отчаянное, как и в первые времена германской истории, когда в Гессене и вдоль Рейна стояли римские укрепления и сторожевые башни, а ликторы Вара проходили через леса и деревни с топором и бичом в руках. Как тогда, так и теперь, вся Германия была одушевлена желанием свободы и надеждой освободиться от

иноземного ига.

Против Бонапарта составилась тайный заговор целого народа; все сословия Германии, соединенные узами братской любви и взаимной верности, вооруженные ненавистью против общего врага, ожидали часа, когда Австрия позовет их на защиту родины. Чувство патриотизма в это время было сильнее вековых традиций и сглаживало разницу состояний и старый сословный антагонизм. Похвалы, расточаемые графом обоим юношам, были приняты его друзьями как доказательство, что и они принадлежат к великому союзу и что им подготовили самый дружелюбный прием. Эгберт совсем растерялся от приветствий всех этих знатных господ, которые наперебой жали ему руку, а молодой Ауерсперг в порыве чувств даже неожиданно заключил его в свои объятия. Не менее приветливо обошлась с молодыми людьми и сестра хозяина, маркиза Гондревиль.

В пользу Эгберта говорило и то, что его фамилия была известна в высшем обществе. Отец Эгберта в свое время был одним из лучших врачей в Вене, и многие из присутствующих были обязаны ему или своей жизнью, или спасением своих родных от тяжелой болезни.

Эгберт держал себя очень скромно и с тем тактом и достоинством, которое дается хорошим образованием, хотя ему недоставало светского лоска и той свободы обращения, которая была заметна в манерах его приятеля Гуго и которая приобретается только навыком. Очутившись в совершенно

незнакомом обществе, молодые люди из боязни сказать что-нибудь лишнее отвечали уклончиво на все вопросы об их путешествии и слухах об испанском восстании и свидании двух императоров.

Граф Ульрих, внимательно наблюдавший за ними все время, остался вполне доволен поведением обоих юношей и, успокоившись на их счет, взглянул в ту сторону, где сидел Цамбелли.

Итальянец, со времени возвращения графа в залу, не двигался с места и, казалось, весь был поглощен беседой с прекрасной Антуанеттой, которая стояла напротив него в дверях балкона. Граф не мог разглядеть лица Цамбелли, потому что он сидел спиной к обществу и только раз поднял руку, как будто указывая на утес по ту сторону озера. Антуанетта стояла с поникшей головой, и в ее роскошных волосах, причесанных, как у греческих статуй, живописно отражался серебристый отблеск луны. Глядя на нее, трудно было решить – исполняла ли она только приказание дяди занять этого опасного человека, или сама поддалась обаянию его увлекательного красноречия.

Остальное общество не обращало никакого внимания на одинокую пару; одни пили, другие весело болтали с молодыми людьми, подоспевшими вовремя, чтобы разогнать скуку, которую уже начали ощущать собравшиеся гости после многих часов, проведенных вместе.

– Кто на земле может назвать себя счастливым, – сказал

Цамбелли грустным тоном, обращаясь к своей собеседнице, – и, наконец, что такое счастье? Если оно обуславливается спокойствием и довольством, то разве оно достижимо для людей? Разве страсть бывает спокойна, и может ли человек удовлетвориться тем, что он имеет, даже если он достиг цели всех своих стремлений? Я бы не говорил с такою уверенностью, если бы люди, достигшие богатства и могущества, научились умерять свои требования. Мне кажется, что из всех в этой зале только один человек близок к счастью.

– Кто же это?

– Ваш дядя, графиня. Помимо его личных достоинств, ума, завидного положения и богатства, он еще пользуется редким преимуществом – желать возможного. Быть может, меня обманывает его внешнее спокойствие и он требует от судьбы больше, нежели она дает ему; но этого не видно. Его жизнь полна гармонии; по сравнению с ним все остальные люди кажутся мне какими-то надорванными, жалкими и несчастными.

– Между тем действительность прямо противоречит вашим словам, – сказала Антуанетта. – Посмотрите на этих людей, как они веселы и как приятно проводят время и вдобавок спят таким непробудным сном, которому можно позавидовать.

– Масса, – возразил Цамбелли, – всегда напоминает мне тех насекомых, которые рождаются и умирают в один и тот же день; разве ей доступно счастье, глубина горя, слава, бес-

смертие?.. Если тупость ума и нечувствительность сердца составляют счастье... то кто же может желать подобного существования! На противоположных полюсах человечества стоят немногие избранные, которые ясно понимают цель своих стремлений и неуклонно идут к ней: на одном полюсе баловни судьбы, достигшие своей цели, с челом, увенчанным лаврами, на другом – несчастные, сгорающие на собственном огне неудовлетворенных желаний; между ними бушует темное и безымянное человеческое море, существующее только для этих немногих избранных. Если бы оно могло чувствовать и сознавать свою участь, то она сделалась бы невыносимой для него. Людей можно разделить на три разряда: одни сделаны из воска, другие – из стали, а третьи – из кожи. Воск тает от солнца, сталь разлетается под ударами молотка, но кожу не берет ни молоток, ни солнце.

– Все это очень остроумно, шевалье. Но я не понимаю, какое вы имеете основание издеваться над обществом и смотреть свысока на все человечество?

– Какое я имею основание! И вы говорите мне это, графиня; вы, единственная, от которой я ожидал, что она поймет меня, потому что знает муку неудовлетворенных желаний и потому что ее душа слишком возвышенна и горда для этих людей...

Видя, что молодая девушка робко отступила на балкон, смущенная его словами, итальянец решил продолжить:

– Нет, я не ошибся, графиня Антуанетта. Вы принадле-

жите к тем прекрасным, но несчастным натурам, которые не довольствуются обыденной жизнью. Разве может удовлетворить вас однообразная жизнь в одиноком замке, где вы должны довольствоваться исполнением дочерних обязанностей и выслушивать день за днем любовные объяснения добросердечных деревенских юношей, быть королевой среди крестьян; разве эта участь достойна вас! Конечно, она совпадает с понятием о предназначении женщин, которое составилось у вашего дяди и у здешних господ, требующих от женщины рабского подчинения мужчине. Такой взгляд должен возмущать вас, и вы должны рано или поздно разорвать свои оковы.

– У вас богатая фантазия, шевалье, – холодно заметила Антуанетта, – и я не понимаю, как могли вы истолковать таким образом то грустное настроение, в котором вы видели меня иногда и которое было непосредственно вызвано тяжелыми обстоятельствами моего семейства. А если я однажды в вашем присутствии пожелала иметь крылья, чтобы улететь на какую-то звезду, то это такое ребячество, о котором говорить не стоит.

– Если можно назвать ребячеством стремление к лучшей жизни и предпочтение высот перед низменностями. Но вы несправедливы к себе, графиня. Выражение вашего лица противоречит вашим словам. Разве мысль о свободе не улыбалась вам за минуту перед тем, когда глаза ваши следили за облаками... и как будто искали в них решения мучив-

ших вас вопросов? Не думайте, что я претендую на ваше доверие — я далек от такой смелости и помню разницу нашего общественного положения. Только ночные мотыльки летят на огонь и обжигают себе крылья. Но мне не хотелось остаться непонятым. Несмотря на то, что я постоянно окружен людьми, я чувствую себя одиноким, так как у меня нет ни родных, ни друзей. Мне казалось, что в вас я найду отголосок моим страданиям, и я осмелился заговорить с вами о том, в чем вы боитесь сознаться даже перед собою. Если это преступление, то простите меня...

— Мне нечего прощать вас, — сказала Антуанетта. — Каждый из нас убежден, что может читать в душе другого.

— И свое собственное настроение приписывает другим, — добавил Цамбелли. — Недовольному кажется, что весь свет чувствует то же, что и он. Но так как я уже отчасти начал свою исповедь, то позвольте закончить ее. Ваш дядя упрекает меня в непомерном честолюбии и еще в одном пороке, о котором умалчивает из вежливости, — в крайней бедности. Последнее побуждает меня завидовать богатым, между тем как всем кажется, что я только насмехаюсь над ними. Меня постоянно мучит беспокойное желание возвыситься над толпой. Это желание нельзя назвать ни преступным, ни безумным. Действительность превосходит подчас самые невероятные мечты. Кто мог ожидать, что разрушится старый свет? Разве не поучителен пример Наполеона Первого, его жены, сестер, братьев, маршалов, которые еще так недавно вышли

из ничтожества, а теперь занимают чуть ли не самые старые престолы Европы? Ввиду этого у каждого честолюбивого человека может появиться естественное желание принять деятельное участие в этой грандиозной и дикой охоте за счастьем, которую революция открыла для всех с одинаковыми шансами поймать добычу.

– Или погибнуть, – возразила Антуанетта.

– Конечно, не все могут быть победителями. Но лучше умереть в борьбе, чем оставаться в ленивом бездействии; лучше погибнуть от землетрясения, чем спокойно умереть в постели от старости и болезни.

– Значит, вы предполагаете во мне ту же потребность борьбы и волнений? – с живостью спросила Антуанетта.

Цамбелли собирался ответить, но в этот момент маркиза Гондревиль позвала свою дочь.

Эгберт, стоявший около маркизы, увидел идущую через залу прекрасную, стройную фигуру молодой девушки в белом легком платье. Ее изящные, обнаженные руки, тень неудовольствия и раздумий на лице, грустный и почти мрачный взгляд, который она бросила на него, – все это вместе произвело на Эгберта неизгладимое впечатление. Он никогда не видел такой женщины, и она показалась ему видением, которое должно исчезнуть так же внезапно, как оно появилось. Он не понял, что сказала маркиза своей дочери, видел только, как та протянула ему руку и сказала что-то своим звучным, приятным голосом. Машинально и как будто во

сне он прикоснулся к ее руке; затем ему казалось, что они говорили о чем-то между собою, но это были для него слова без содержания, которые совершенно изгладились из его памяти. В пылу восторга он забыл, где он. По счастью, никто не мешал ему предаваться своим размышлениям, так как в этот момент все забыли о его существовании. Было уже около полуночи, и гости поднялись со своих мест. Граф и сестра его, переходя от одной группы к другой, уговаривали их остаться по крайней мере до двенадцати часов. Пухгейм раньше всех заявил о своем согласии.

– Наш хозяин прав, как всегда, – сказал он своим громким голосом, – не мешает выпить на прощанье еще стаканчик вина. На земле все дело одной минуты; кто знает, может быть, мы завтра же разойдемся в разные стороны, как Наполеон с Александром Первым?

Заявление это встретило общее одобрение, и тотчас же по распоряжению хозяина появились слуги с налитыми стаканами вина на серебряных подносах. Молодые девушки и дамы окружили Антуанетту, чтобы договориться с нею о предстоящей прогулке.

Эгберт удалился с середины залы в одну из глубоких стеновых ниш, чтобы насладиться лицезрением Антуанетты. Он невольно сравнивал ее с окружающими ее подругами, и она казалась ему неизмеримо лучше и прекраснее всех их. При одной мысли, что он опять увидит ее на следующий день, им овладела такая радость, какую он не испытывал в жизни; его

мечты в эту минуту не простирались далее этого.

В это время к Антуанетте подошел Цамбелли, и ее образ тотчас же затмился для Эгберта при виде его мрачной фигуры с темными волосами и бронзовым цветом лица. Влюбленный юноша чувствовал, как судорожно сжалось его сердце, когда он заметил, что в этот момент яркая краска покрыла щеки молодой девушки.

— Что вы так удалились от нас, Эгберт? — сказал граф, проходя мимо него. — Вы, верно, устали от сегодняшнего дня, но я надеюсь, что вы отдохнете в моем доме.

— Кто этот господин, который разговаривает с графиней? — спросил с живостью Эгберт. — У него такая наружность, которая невольно обращает на себя внимание.

— Не правда ли? Это, несомненно, самый выдающийся из моих гостей. Его зовут Витторио Цамбелли. Он родом из итальянского Тироля, младший сын одной дворянской фамилии. Хотите, я познакомлю вас с ним?

— Нет, граф, я не желаю этого.

В эту минуту кто-то из гостей позвал графа, и Эгберт остался один.

На другой стороне залы ненавистный для него человек, имя которого он только что узнал, разговаривал с молодой графиней о каком-то важном и тайном деле. Эгберт заключил это из того, что подруги Антуанетты отошли от нее и она осталась одна с итальянцем. Она отвечала ему односложно, но слушала его очень внимательно. У Эгберта появилось

сильное желание помешать их разговору, и он уже сделал несколько шагов, чтобы подойти к ним, однако светские обычаи и привычки оказались сильнее ревности. Но то, что он увидел теперь, превзошло все его ожидания. Цамбелли наклонился к руке Антуанетты и прижал ее к своим губам. Эгберт ждал, что девушка с негодованием вырвет у него руку и не потерпит такого осквернения. Но правая ее рука оставалась в его руке... При виде этого вся кровь прилила к сердцу Эгберта, и он, не помня себя, подошел к ним быстрыми шагами.

Оживленная беседа графини с итальянцем, по-видимому, рассердила еще одного человека, который не считал нужным скрывать своего недовольства и имел на это больше прав, чем Эгберт. Это был молодой Ауерсперг, который подошел к Цамбелли с таким вызывающим видом, что тот поспешно отпустил руку Антуанетты и простился с нею с почтительным поклоном. Но, избегая ссоры со своим вспыльчивым противником, Цамбелли так быстро отвернулся от него, что столкнулся с Эгбертом.

– Извините меня, милостивый государь, – сказал Цамбелли, взглянув в лицо юноши.

Он не обратил никакого внимания на волнение Эгберта, потому что ему и в голову не приходило, чтобы тот мог чувствовать к нему ненависть, не обменявшись с ним ни единым словом. Но его живо интересовала личность молодого бюргера, с которым граф обходился как со старым знакомым и

которому маркиза, эта гордая аристократка, помешанная на тщеславии, выказывала чуть ли не материнскую нежность. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания Цамбелли, несмотря на его философские рассуждения с Антуанеттой о свете и человеческой судьбе.

«Если тут скрывается какая-нибудь тайна, – подумал он, – то нетрудно будет раскрыть ее, потому что этот белокурый юноша кажется мне олицетворением откровенности».

– Извините меня еще раз, – продолжал Цамбелли своим изысканно вежливым тоном. – Если я не ошибаюсь, то видел вас сегодня, милостивый государь, в Ламбахе?

– Это невозможно, потому что я не был в Ламбахе, – коротко ответил Эгберт.

– Неужели я ошибся? – сказал Цамбелли в надежде вызвать юношу на откровенность. – Это было на большой дороге; я ехал верхом из Гмундена, вы шли с севера.

Дерзкая навязчивость итальянца вывела из терпения Эгберта, и он решил отплатить ему той же монетой.

– Какое странное совпадение! – сказал он, стараясь сохранить хладнокровие. – А я так положительно убежден, что видел вас у мельницы Рабен.

Эгберт назвал первое попавшееся место, которое пришло ему в голову, но Цамбелли сильно смутился и отступил назад с видом человека, перед которым открывается пропасть.

– Значит, это была игра моей фантазии, – сказал Цамбелли, – если только вы не имеете двойника. В будущем этого

не случится, потому что лицо ваше никогда не изгладится из моей памяти.

– Я также не забуду вас, – ответил Эгберт тем же тоном.

В этот момент мимо него прошла Антуанетта, провожавшая своих друзей. Ее гордый и спокойный вид отрезвил Эгберта. Что за безумная мечта овладела им! Какое ему дело до молодой графини и до того, кто нравится ей? Разве он может играть какую-нибудь роль в этом обществе, в которое он попал только благодаря случаю и помимо своей воли!

Печальные размышления Эгберта были прерваны хозяином дома, который, подойдя к нему, положил руку на его плечо.

– Вы отлично держали себя, Эгберт, – сказал он. – Первый шаг сделан, а это самое трудное! К обществу вовсе не так трудно привыкнуть, как это кажется с первого взгляда.

– Я не понимаю вас, граф. Но мне кажется, что тот мир, о котором вы говорите, навсегда останется мне чужим и никогда не будет мне по душе.

– Может быть, я ошибся, но мне показалось, что вы имели неприятный разговор с итальянцем и уже, вероятно, считаете его своим врагом. Но верьте мне, что неприязненные отношения иногда бывают полезнее дружбы. Однако мне нужно провожать моих гостей. Желаю вам спокойной ночи. Антон позаботится о вас и вашем приятеле.

Кругом слышались отрывочные восклицания:

– Счастливого пути!

– До свидания.

– Дня через три, если погода не испортится, устроим прогулку по озеру.

– Да, непременно!

– Какая отличная охота была у нас сегодня!

Среди всех этих отрывочных разговоров, приветствий и пожимания рук то тут, то там слышались изъяснения в дружбе и братские поцелуи, которым немало способствовало вино хозяина. Но всех дольше и нежнее прощались молодые девушки с Антуанеттой. Слуги ждали господ со шляпами и шинелями в руках; во дворе, фантастически освещенном горящими факелами, стояли запряженные экипажи, фыркали лошади и нетерпеливо били копытами о землю.

Эгберт и Гуго, усталые и отчасти ошеломленные непривычным блеском и роскошью, вышли незаметно из залы и последовали за управляющим, который со свечой в руках проводил их в приготовленную для них комнату в верхнем этаже замка.

Глава III

Желание графа не исполнилось. Эгберту не спалось всю ночь; воображение рисовало ему то светлые, то страшные картины, которые не давали ему ни минуты покоя. Переход от смерти Бурдона к блестящему празднику в замке, разговор с графиней, затем с итальянцем оставили слишком глубокий след в его впечатлительной душе, и у него несколько раз появлялось желание разбудить своего приятеля и рассказать о своих ощущениях. Но он стыдился собственного малодушия и решил терпеливо ждать наступления утра.

Наклонность к мечтательности проявилась у Эгберта с раннего детства; она была отчасти унаследована им от матери и частью привита воспитанием. Он был единственным сыном вполне достойных родителей, но совершенно не подходящих друг другу ни по летам, ни по взглядам и чувствам. Отец его, человек образованный, добродушный и одаренный сильной волей, был лучшим учеником знаменитого доктора Гергарда Свитена в Вене, между тем как его мать, готовившая себя в певицы, вследствие домашних обстоятельств должна была отказаться от мечты и выйти замуж за человека, гораздо старше ее, к которому она ничего не чувствовала, кроме уважения. Разница лет и чувств не могла не привести к душевному разладу между супругами, хотя ни один из них не мог пожаловаться на другого, и люди завидовали их сча-

стью. Если в сердце госпожи Геймвальд были неудовлетворенные стремления, то она старательно скрывала их и относилась к мужу с такой нежной заботливостью и уважением, что при его утомительных ежедневных занятиях он едва замечал недостаток более полной гармонии в его супружеской жизни. Рождение ребенка сблизило до известной степени их, и они как будто старались превзойти друг друга в своей любви к нему. Отец взял на себя его физическое и умственное развитие и, находя много недостатков в школьном образовании, решил воспитывать его дома. Трудно было найти более способного и физически развитого мальчика, чем Эгберт; но отсутствие товарищей должно было губительно отразиться на его характере и развить в нем фантазию в ущерб других способностей. Так как свет ограничивался для него родительским домом и садом, то он стал тяготиться детьми, изредка посещавшими их дом, и сам не любил бывать у них. Он охотнее слушал сказки матери и разыгрывал их потом в своем кукольном театре. Отец был слишком занят, чтобы отдать себе ясный отчет в этом, а с другой стороны, мечтая сделать из своего сына знаменитого ученого или исследователя, он не прочь был оградить его от впечатлений внешнего мира и вредных влияний. «Одиночество никому не вредит, – говорил он, – и возвышает мудреца, ограждая его от всяких пятен».

Благодаря такому воспитанию Эгберт почувствовал себя совершенно беспомощным после смерти отца. Горькие опы-

ты и разочарования не замедлили встретить увлекающегося юношу при первом его вступлении в свет и побудили его искать успокоения у своего домашнего очага. Здесь все соответствовало его вкусам и желаниям, ничто не мешало предаваться любимым мечтам в ущерб серьезным занятиям, которые также пошли совсем иначе после смерти отца. Старик Геймвальд намеревался послать своего сына в Берлин для завершения его медицинского образования, и мать Эгберта, вероятно, подчинилась бы воле мужа при его жизни; но теперь подобная жертва была слишком тяжела для нее. Эгберт, со своей стороны, не настаивал и все глубже и глубже пускал корни в родной почве, встречая в этом поддержку со стороны своих друзей и опекунов, так как по их понятиям Вена имела таких же, если еще не лучших, врачей и преподавателей, как и северная столица. Эгберт сначала горячо принялся за занятия, но скоро охладел к ним; профессора и их лекции не удовлетворили мечтательного юношу; ему казалось, что их воззрения на науки слишком узки сравнительно с широким и возвышенным пониманием его отца. На вопросы, которые он задавал своим преподавателям относительно связи тела с духом, причин возникновения мысли и т. п., ему отвечали холодно и с усмешкой, так как подобные вопросы в глазах ученых представителей тогдашнего медицинского мира казались не более как детскими бреднями и поэтическими новомодными фантазиями, неприличными для врача.

Таким образом, Эгберт и здесь встретил полный разлад

действительности с тем идеалом, к которому стремился по желанию отца и по собственному убеждению. Хотя он и продолжал изучать медицину, но занимался один и без всякой последовательности, так что постепенно и незаметно для него самого его занятия свелись к простому дилетантизму. К этому прибавились еще неизбежные хлопоты и дела по наследству, которое оказалось довольно значительным. Помимо дома в Вене, старик Геймвальд оставил сыну еще довольно большую земельную собственность поблизости Шенбрунна. Хотя имение было передано в руки верного арендатора, но потребовались улучшения и поправки, в которых молодой наследник должен был волей-неволей принять участие. Эгберт с удивлением увидел, как много людей поставлено в зависимость от него; со всех сторон стали обращаться к нему с различными просьбами, одни в надежде эксплуатировать его, другие – рассчитывая на его желание добра и юношескую потребность деятельности. Эгберт охотно отказался бы от всех дел, так как чувствовал сильное стремление к ленивой и созерцательной жизни, которое увеличивалось прирожденной беспечностью и воспитанием в богатом доме. Может быть, он и последовал бы этому стремлению, если бы его не удерживало воспоминание о вечно деятельном отце и матери, которая из чувства семейного долга пожертвовала своими надеждами на более блестящую будущность и вышла замуж за нелюбимого человека.

Наконец мало-помалу Эгберт стал привыкать к сельской

жизни; его заняли постройкой, охота, верховая езда, и он стал так же сильно увлекаться природой, как прежде наукой и отвлеченными размышлениями. Его поэтическая натура требовала выхода; он чувствовал в себе запас сил и не знал, как употребить их. Отдавая себе отчет в своей деятельности, он находил ее ничтожной и почти бесцельной; о достижении идеала не могло быть и речи, потому что возможность совершать великие и добрые дела дается не всем и только при известных условиях. Из людей, окружавших Эгберта, весьма немногие могли сравниться с ним образованием, и ни один не удовлетворял его с нравственной стороны. Эгберт чувствовал себя глубоко несчастным. Он был уверен, что призван к чему-то необыкновенному, и тем сильнее сознавал свое ничтожество. Он не был ни ученым, ни художником, ни даже простым дельцом. Общее политическое движение, охватившее тогда всю Германию, не интересовало его. Хотя он считал себя хорошим австрийцем и патриотом, но ему и в голову не приходило, что и на нем лежит обязанность защищать свою родину, народность и язык от иноземного господства. По его мнению, это было дело коронованных особ, дворянства и солдат, а его долг относительно государства заключается только в том, чтобы исправно платить налоги, вносить свою лепту на разные благотворительные дела и исполнять законы. Многие из великих, уважаемых им поэтов точно так же смотрели на свои гражданские обязанности и, убеждая от мрачной действительности, искали спасения в безмя-

тежной области искусства и блаженных мечтаний. Здесь было полное примирение и гармония, между тем как на земле шла дикая стихийная борьба. То же отчуждение от политики встречал Эгберт и в той среде, в которой вращался. В кружках венского бюргерства политический разговор был тогда редкостью. Все жалели о проигрыше Аустерлицкой битвы, но утешали себя мыслью, что такое же поражение потерпели ненавистные пруссаки при Иене. Победоносные лавры Наполеона I внушали почтенным бюргерам больше удивления, нежели ненависти. Более смелые из них поговаривали, что революция имела свои хорошие стороны и что в Австрии со времени последнего поражения произошло немало перемен относительно народных прав. Но все эти разговоры давно перестали занимать Эгберта, так как были слишком известны ему.

Граф Ульрих был единственным человеком, которому удалось заинтересовать Эгберта своей беседой и произвести на него глубокое впечатление. Это было четыре года тому назад, когда граф впервые явился к ним в дом, чтобы повидаться с его матерью. У них, по-видимому, шли переговоры о каком-то важном и тайном деле, потому что в это время они всегда удаляли Эгберта. Граф в подобных случаях старался быть вдвойне предупредительным с Эгбертом, и их разговоры с графом, сначала мимолетные и короткие, становились все продолжительнее и оживленнее. Юноша нравился графу своей сердечностью, впечатлительной и увлекающейся нату-

рой; граф старался развить его, не задаваясь никакими властолюбивыми целями, и потому влияние его было тем сильнее и безграничнее. Что же касается Эгберта, то он безусловно восхищался личностью графа, так как никогда еще не встречал человека с такой сильной волей, разносторонним умом и образованием и с такими прекрасными манерами. В вопросах, относящихся к области искусств, житейской мудрости и особенно политики, Эгберт удивлялся ясности и глубине суждений графа Ульриха, хотя они нередко противоречили его собственным воззрениям. Он молча слушал его и только изредка решался прервать его каким-нибудь замечанием. Перед ним открылся новый, неведомый мир; впервые в голове его зародилась мысль, что идея государства представляет собою нечто законченное, как всякое произведение искусства, и полна глубокого значения и смысла. Но до сих пор все разговоры Эгберта с графом Ульрихом имели чисто теоретический характер; граф не решался посвящать юношу в тайну своих политических замыслов и вообще избегал всяких откровенных разговоров. После смерти матери Эгберта их отношения на время прекратились. Теперь судьба опять свела их, и граф в первый раз пригласил Эгберта к себе в дом. Этот знак доверия глубоко тронул впечатлительного юношу и мало-помалу после долгой бессонной ночи чувство благодарности взяло верх над всеми другими ощущениями. К утру он уже стал горько упрекать себя за сомнения, возникшие в его душе.

– Можно ли сомневаться в прекрасном, – воскликнул он вслух, – и уничтожать величие святыни, отыскивая в ней пятна!

– Сомнения приводят к истине, – ответил Гуго, открывая глаза и потягиваясь с удовольствием на мягком тюфяке. – Я не знаю, что ты находишь великого и святого в этой молодой графине и старой маркизе. Держу пари, что их недаром показали нам.

– Как ты странно выражаешься.

– Извини, пожалуйста, я не точно выразился, потому что ты один у достоинлся чести быть представленным этим дамам. Но зато мне подали отличный кусок паштета с дичью, и я влил в себя несколько стаканов дорогого вина.

– Неужели на тебя не произвели никакого впечатления все это великолепие и блеск? – спросил Эгберт.

– Мне, собственно, понравился один долговязый барон Пухгейм; все же остальные – нули, которые сами по себе не имеют никакого значения.

– Мне всегда досадно слушать, когда ты так отзываешься о людях.

– Ну а что касается всей обстановки, то наши студенческие вечеринки в Галле сравнительно с тем, что я видел вчера, были банкетам Платона. Если бы я рассказал тебе... Жаль только, что у нас в Галле не было Аспазии или Диотимы.

– Или Антуанетты! – невольно воскликнул Эгберт.

Гуго не слышал этого восклицания или сделал вид, что не слышит, и стал припоминать свою студенческую жизнь, которая окончилась так неожиданно, вслед за битвой при Иене, когда французы вошли в город и Наполеон приказал запереть профессорские аудитории.

Эгберт не прерывал своего приятеля и молча заканчивал свой туалет.

Наконец и Гуго счел нужным подняться с постели, но в противоположность Эгберту поднял такой шум и суету, что слуга, ожидавший их пробуждения в коридоре, несмотря на ранний час, постучался в дверь и учтиво предложил свои услуги, которые были охотно приняты, так как Гуго совсем вошел в роль знатного барина. Затем тот же слуга подал им легкий завтрак, и Гуго не мог воздержаться, чтобы не сделать ему несколько вопросов относительно вчерашних гостей, и даже полюбопытствовал узнать – встал ли граф и где он?

– Его сиятельство уже вернулся с утренней прогулки, – ответил слуга.

– Ну, а теперь мы отправимся на прогулку! – воскликнул Гуго, взяв под руку Эгберта.

Приятель отправились в сад, примыкавший к замку, и вошли на террасу, с которой открывался превосходный вид на озеро, окрестные местечки и деревни и величественный Траунштейн. Утренний туман не окончательно рассеялся, но солнце сияло во всем блеске, а с озера дул прохладный ветерок. Деревья уже были окрашены пестрыми красками осе-

ни и только кое-где виднелись темно-зеленые тисы, образуя то сплошную стену, то красивую нишу. Сад был устроен по всем правилам французского садоводства. Тут были и обстриженные деревья, искусственные лабиринты, мраморные фигуры во вкусе рококо – сатиры, похищающие нимф, Геркулес с палицей, вооруженная Минерва и выходящая из воды Венера. Многие из этих статуй попортились от времени и непогоды, но зато луга, куртины с последними осенними цветами, дорожки и тенистые аллеи содержались в порядке и были чисто выметены.

Сад производил почти чарующее впечатление при торжественной утренней тишине и постепенно исчезающем тумане. Чем-то сказочным веяло от закрытых ставен и окон погруженного в сон и как будто заколдованного замка. Даже болтливый Гуго умолк на несколько минут и задумчиво ходил взад и вперед по террасе вместе с Эгбертом, любуясь голубоватыми горами, которые все яснее и яснее выступали на далеком горизонте.

Приятеля спустились с террасы и дошли до середины сада, где была большая площадка, от которой расходились лучеобразно восемь дорожек. Одна из них особенно понравилась Эгберту своей мрачной красотой; она тянулась на несколько сот шагов среди гигантских пихт и вела к месту погребения, где за красивой железной решеткой покоились бранные остатки родителей графа Ульриха. Два сфинкса из черного базальта лежали сторожами у входа; напротив них

под тенью пихты стояла скамейка. Плакучие ивы склонялись над обеими гробницами, а среди них на высокой колонне возвышался Гений Надежды, широко раскрывший свои крылья.

Молодые люди сели на скамейку.

– Меня разбирает любопытство, – сказал Гуго после минутного молчания, – приготовит ли граф такую великолепную могилу Жану Бурдону, этому вернейшему из людей, как он сам назвал его, когда мы выходили из дому лесного сторожа?

– Почему тебе пришло это в голову?

– Из зависти. Я не завидую богатым и знатым людям, пока они живы; у них также есть свои заботы, как у меня, и, наверно, больше неприятностей и болезней. Счастливее всех нищих, который философски относится к своему ремеслу и спокойно занимается им. Но когда умирает богач, тогда обнаруживается то преимущество, которое он имеет перед простым земляным червяком.

– Мне всегда казалось, что смерть сглаживает неравенство состояний.

– Ты называешь это сглаживанием неравенства! – воскликнул Гуго, пожимая плечами. – Между тем ничто так не возбуждает мою зависть, как красивый надгробный памятник. Вот это был человек! – говорят люди при виде такого памятника с золотой надписью. Важно не то, как ты жил, а какую речь скажут над твоим гробом. От таких речей жире-

ет пастор, говаривал мой отец, почтенный священник в Вустергаузене, и он был совершенно прав. Умение красиво говорить о смерти может составить славу оратору. Знаменитый профессор Вольф в Галле никогда не достигал такого пафоса, как в тот момент, когда он читал с кафедры стихи Гомера о непрочности земной жизни.

– Из тебя, вероятно, вышел бы отличный пастор, – сказал, улыбаясь, Эгберт.

– Весьма возможно, я даже поступил в Галльский университет, чтобы стать священником, а вместо этого из меня вышел актер. Так распорядилась судьба. Если бы ты видел, как у нас превосходно исполняли трагедии Шиллера, то, верно, кончил бы тем же.

– Может быть, только я не решился бы на это так легко, как ты, – сказал Эгберт. – Я не мог бы так скоро отказаться от моего прошлого.

– Все оттого, что ты, Эгберт, только мечтаешь о свободе, но у тебя нет силы добиться ее. Не смотри на меня так мрачно и не огорчайся этим. Зато у тебя золотое сердце. Вот уж скоро три недели, как ты платишь за меня гульден за гульденом и ни разу даже не намекнул мне об этом.

– Ты забыл то обещание, которое дал мне на мосту в Праге – никогда не говорить об этом и считать себя моим гостем до нашего возвращения в Вену.

– Ну, изволь, больше не буду. Поговорим о чем-нибудь другом. Знаешь ли, что сегодня ночью на меня нашло вдох-

новение и я нашел ключ к храму?..

– К какому храму?

– К храму искусства, который теперь откроется для меня, а ключ в сапоге Бурдона. Ты ведь никогда не замечаешь мелочей, но мы с графом видели это, и наши взгляды встретились. Теперь смело буду просить его, чтобы он дал мне место актера в императорской труппе. Если бы не сапог Жана Бурдона, то он ответил бы мне высокомерным отказом; ну, а теперь он этого побоится, и я буду играть роль датского принца Гамлета.

– Ты уже начинаешь дурачиться, воображая себя Гамлетом.

– Скажи слово, и я исчезну, а ты оставайся в этом заколдованном саду и преследуй убегающую нимфу. Но я должен из дружбы предупредить тебя, что мы приглашены сюда не из одной любезности. Неужели ты не соображаешь, что этот Жан Бурдон был для графа нужным человеком и его смерть порвала петлю искусно сплетенной сети. В его руках был важный секрет – половина его украдена, а остальное в сапоге Бурдона.

Эгберт задумался. Подозрения приятеля показались ему вполне правдоподобными, когда он стал припоминать все обстоятельства убийства и смерти Бурдона.

– Может быть, ты и прав, – сказал Эгберт, – но в чем бы ни состояла тайна Бурдона, мы должны быть крайне осторожны в этом отношении.

– Еще бы, – сказал Гуго, – но, во всяком случае, благодаря этому мы сделались важными людьми в глазах графа Вольфсегга и как бы членами его семейства. Ему трудно будет отказать нам в какой-нибудь просьбе, и если бы ты не был так неповоротлив, Эгберт, и не задавался бы при всяком удобном случае неразрешимыми вопросами, ты бы мог легко добиться одной цели. Молодая графиня...

– Пожалуйста, не говори мне об этом, – прервал его Эгберт, между тем как яркая краска разлилась по его лицу. – Какое отношение может иметь эта светлая и чистая личность с какими бы то ни было темными тайнами? Но как могло это прийти тебе в голову? Разве звезды на небе так же доступны, как и полевые цветы? Я был бы совершенно счастлив, если бы мог хоть издали любоваться ей.

– Какое у тебя идеальное представление о женщинах, – заметил с усмешкой Гуго.

– Разве ты уже стал иначе относиться к женщинам?

– Разумеется, ничего подобного не может быть у актера. Для него свет те же подмостки. Вам, ученым, мир может представляться чем-то разнообразным, прекрасным и возвышенным, потому что вы видите его издали; а для нас, которые близко знакомятся с ним за кулисами, он не более как грязная лавка. Кругом одна пыль, румяна, пошлость; и в действительности женщины еще хуже мужчин.

– Что же, по твоему мнению, красота? Ты не можешь отвергать ее.

– Одна мишура, прикрывающая никуда не годное платье.

– Ты говоришь как проповедник и находишь, что на свете все суета. Ты, кажется, думаешь рассердить меня, но это не удастся тебе.

– Я хочу только предостеречь тебя, несчастный, – продолжал Гуго с комическим пафосом, принимая умоляющую позу. – Не приноси своего сердца в жертву жестокой богине!

– Лучше посвятить сердце богине, чем самому погрязнуть в тине обывденной жизни, которая охватит меня тотчас по возвращении домой. Я с ужасом думаю о том, сколько накопится там всяких счетов, контрактов, планов... Что может быть лучше нашей теперешней жизни, при которой мы можем любоваться на свет божий, не задаваясь никакими целями и заботами, переходить от нового к новому, от одного наслаждения к другому. А дома что ожидает меня? Всякие бедствия, разочарования, жалкое, бедное существование...

– Эгберт, ты, как всегда, сгустил краски, представляя себе преимущества одной жизни перед другой. Но я могу утешить тебя – нас спасет сапог Бурдона... Однако нам пора в замок...

Приятель поднялся со скамейки и пошел по той же дорожке, но едва сделали они несколько шагов, как к ним подошел слуга.

– Его сиятельство просит вас к себе, – сказал слуга, обращаясь к молодым людям. – Маркиза также осведомлялась о вас.

– Странно! – пробормотал Эгберт. Сердце его болезненно сжалось от какого-то предчувствия, в котором он сам не мог дать себе отчета.

Граф уже целый час председательствовал на семейном совете, в котором принимал участие и Пухгейм, оставшийся на ночь в замке по просьбе графа. Совет проходил в голубой комнате угловой башни, которая была обращена в сад своими тремя высокими окнами; через одно из них виднелось озеро. Эта башня в былые времена составляла часть прежнего старого замка Вольфсеггов, просуществовавшего около двухсот лет. При постройке нового красивого дома шестьдесят лет тому назад строитель по какой-то странной фантазии оставил из старого здания хорошо сохранившуюся башню и соединил ее галереей с новым замком, который не особенно выиграл от такой прибавки в смысле архитектурной красоты. Массивная круглая башня с остроконечной крышей резко отличалась от легкой постройки нового стиля. Маркиза ненавидела винтовую лестницу и тесные комнаты башни, которые, по ее мнению, были так безобразны и лишены всякого комфорта, что в них не мог жить ни один порядочный человек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.